

Герман Гессе

Демиан

История юности, написанная Эмилем Синклером

*Я ведь всего только и хотел попытаться жить тем, что само рвалось из меня наружу.
Почему же это было так трудно?*

Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать издалека. Мне следовало бы, будь это возможно, вернуться гораздо дальше назад, в самые первые годы моего детства, и еще дальше, в даль моего происхождения.

Писатели, когда они пишут романы, делают вид, будто они Господь Бог и могут целиком охватить и понять какую-то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если бы ее рассказывал себе сам Господь Бог, без всякого тумана, только существенное. Я так не могу, да и писатели тоже не могут. Но мне моя история важнее, чем какому-нибудь писателю его история; ибо это моя собственная история, а значит, история человека не выдуманного, возможного, идеального или еще как-либо не существующего, а настоящего, единственного в своем роде, живого человека. Что это такое, настоящий живой человек, о том, правда, сегодня знают меньше, чем когда-либо, и людей, каждый из которых есть драгоценная, единственная в своем роде попытка природы, убивают сегодня скопом. Если бы мы не были еще чем-то большим, чем единственными в своем роде людьми, если бы нас действительно можно было полностью уничтожить пулей, то рассказывать истории не было бы уже смысла. Но каждый человек – это не только он сам, это еще и та единственная в своем роде, совершенно особенная, в каждом случае важная и замечательная точка, где скрещиваются явления мира так – только однажды и никогда больше. Поэтому история каждого человека важна, вечна, божественна, поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет волю природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом приобрел образ дух, в каждом страдает живая тварь, в каждом распинают Спасителя.

Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чувствуют это, и потому им легче умирать, как и мне будет легче умереть, когда допишу эту историю.

Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все еще остаюсь им, но ищу я уже не на звездах и не в книгах, я начинаю слышать то, чему учит меня шумящая во мне кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй, она отдает бессмыслицей и душевной смутой, безумием и бредом, как жизнь всех, кто уже не хочет обманываться.

Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каждый, тем не менее, стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобытности. Иной так и не становится человеком, остается лягушкой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверх человек, а внизу рыба. Но каждый – это бросок природы в сторону человека. И происхождение у всех одно – матери, мы все из одного и того же жерла; но каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей собственной цели. Мы можем понять друг друга; но объяснить может каждый только себя.

Глава первая

Два мира

Я начну свою историю с одного происшествия той поры, когда мне было десять лет и я ходил в гимназию нашего города.

Многое наплывает на меня оттуда, пробирая меня болью и приводя в сладостный трепет, темные улицы, светлые дома, и башни, и бой часов, и человеческие лица, и комнаты, полные уюта и милой теплоты, полные тайны и глубокого страха перед призраками. Пахнет теплой теснотой, кроликами и служанками, домашними снадобьями и сушеными фруктами. Два мира смешивались там друг с другом, от двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь.

Одним миром был отцовский дом, но мир этот был даже еще уже, охватывал, собственно, только моих родителей. Этот мир был мне большей частью хорошо знаком, он означал мать и от-

ца, он означал любовь и строгость, образцовое поведение и школу. Этому миру были присущи легкий блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мягкая приветливая речь, чистое платье, хорошие манеры. Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В этом мире существовали прямые линии и пути, которые вели в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и исповедь, прощение и добрые намерения, любовь и почтение, библейское слово и мудрость. Этому миру следовало держаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упорядоченной.

Между тем другой мир начинался уже в самом нашем доме и был совсем иным, иначе пахнул, иначе говорил, другое обещал, другого требовал. В этом втором мире существовали служанки и подмастерья, истории с участием нечистой силы и скандальные слухи, существовало пестрое множество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных вещей, таких, как бойня и тюрьма, пьяные и сквернословящие женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные и ужасные, дикие и жестокие вещи существовали вокруг, на ближайшей улице, в ближайшем доме, полицейские и бродяги расхаживали повсюду. Пьяные били своих жен, толпы девушек текли по вечерам из фабрик, старухи могли напустить на тебя порчу, в лесу жили разбойники, сыщики ловили поджигателей – везде бил ключом и благоухал этот второй, ожесточенный мир, везде, только не в наших комнатах, где были мать и отец. И это было очень хорошо. Это было чудесно, что существовало и все то другое, все то громкое и яркое, мрачное и жестокое, от чего можно было, однако, в один день укрыться у матери.

И самое странное – как оба эти мира друг с другом соприкасались, как близки они были друг к другу! Например, наша служанка Лина, когда она вечером, за молитвой, сидела в гостиной у двери и своим звонким голосом пела вместе с другими, положив вымытые руки на выглаженный передник, тогда она была целиком с отцом и матерью, с нами, со светлым и правильным. А сразу после этого, в кухне или в дровянике, когда она рассказывала мне сказку о человечке без головы или когда она спорила с соседками в маленькой мясной лавке, она была совсем другая, принадлежала к другому миру, окружалась тайной. И так бывало со всем на свете, чаще всего со мной самим. Конечно, я принадлежал к светлomu и правильному миру, я был сыном своих родителей, но куда ни направлял я свой взгляд и слух, везде присутствовало это другое, и я жил также и в нем, хотя оно часто бывало мне чуждо и жутко, хотя там обыкновенно появлялись нечистая совесть и страх. Порой мне даже милее всего было жить в этом запретном мире, и возвращение домой, к светлomu – при всей своей необходимости и благотворности – часто ощущалось почти как возврат к чему-то менее прекрасному, более скучному и унылому. Иногда я знал: моя цель жизни – стать таким, как мой отец и моя мать, таким же светлым и чистым, таким же уверенным и порядочным; но до этого еще долгий путь, до этого надо отсидживать уроки в школе, быть студентом, сдавать всякие экзамены, и путь этот идет все время мимо другого, темного мира, а то и через него, и вполне возможно, что в нем-то как раз и останешься и утонешь. Сколько угодно было историй о блудных сыновьях, с которыми именно так и случилось, я читал их со страстью. Возвращение в отчий дом и на путь добра всегда бывало там замечательным избавлением, я вполне понимал, что только это правильно, хорошо и достойно желания, и все же та часть истории, что протекала среди злых и заблудших, привлекала меня гораздо больше, и если бы можно было это сказать и в этом признаться, то иногда мне бывало, в сущности, даже жаль, что блудный сын раскаялся и нашелся. Но этого ни говорить, ни думать не полагалось. Это ощущалось только подспудно, как некое предчувствие, некая возможность. Когда я представлял себе черта, я легко мог вообразить его идущим по улице, открыто или переодетым, или где-нибудь на ярмарке или в трактире, но никак не у нас дома.

Мои сестры принадлежали тоже к светлomu миру. Они, как мне часто казалось, были по сути ближе к отцу и матери, они были лучше, нравственнее, непогрешимее, чем я. У них были недостатки, были дурные привычки, но мне казалось, что это заходит не очень глубоко, не так, как у меня, где соприкосновение со злом часто оказывалось мучительно-тяжким, где темный мир находился гораздо ближе. Сестер, как и родителей, надо было щадить и уважать, и если случалось поспорить с ними, ты всегда оказывался плохим перед собственной совестью, зачинщиком, который должен просить прощения. Ибо в сестрах ты обижал родителей, добро и непреложность.

Были тайны, поделиться которыми с самыми скверными уличными мальчишками мне было куда легче, чем с сестрами. В хорошие дни, когда все светло и совесть в порядке, бывало просто восхитительно играть с сестрами, держаться с ними приятно и мило и видеть самого себя в славном, благоприятном свете. Так, наверно, было бы, если бы сделаться ангелом! Ничего более высокого мы не знали, и нам казалось дивным блаженством быть ангелами, окруженными сладкозвучием и благоуханием, как сочельник и счастье. О, как редко выдавались такие часы и дни! За игрой, за хорошими, невинными, разрешенными играми мною часто овладевала горячность, которая претила сестрам, вела к ссорам и бедам, и если на меня тогда находила злость, я становился ужасен, я делал и говорил вещи, делая и говоря которые, в глубине души уже обжигался их мерзостью. Затем наступали скверные, мрачные часы раскаяния и самоуничужения, а затем горькая минута, когда я просил прощения, а потом снова, на какие-то часы или мгновения – луч света, тихое, благодарное счастье без разлада.

Я учился в гимназии, сын бургомистра и сын старшего лесничего были в моем классе и иногда приходили ко мне, дикие сорванцы, и все-таки частицы доброго, разрешенного мира. Тем не менее у меня были близкие отношения с соседскими мальчишками, учениками народной школы, которых мы вообще презирали. С одного из них я и начну свой рассказ.

Как-то в свободные часы второй половины дня – мне было чуть больше десяти лет – я слонялся без дела с двумя соседскими мальчишками. Тут к нам подошел третий, постарше, сильный и грубый малый лет тринадцати, ученик народной школы, сын портного. Его отец был пьяница, и вся семья пользовалась дурной славой. Франц Кромер был мне хорошо известен, и мне не понравилось, что он присоединился к нам. У него были уже мужские манеры, он подражал походкой и оборотами речи фабричным парням. Под его предводительством мы возле моста спустились к берегу и спрятались от мира под первой мостовой аркой. Узкий берег между сводчатой стеной моста и вяло текущей водой состоял из сплошных отбросов, из черепков и рухляди, запутанных узлов ржавой проволоки и прочего мусора. Там можно было иногда найти полезные вещи; под предводительством Франца Кромера мы должны были обыскивать этот участок и показывать ему найденное. Затем он либо брал это себе, либо выбрасывал в воду. Он велел нам не пропускать предметов из свинца, меди и олова, их он все до одного забрал, как и роговую гребенку. Я чувствовал себя в его обществе очень скованно, не потому, что я знал, что мой отец запретил бы мне водиться с ним, а от страха перед самим Францем. Я был рад, что он меня взял с собой и обращался со мной, как с другими. Он приказывал, а мы повиновались, словно так заведено издавна, хотя я был впервые с ним вместе.

Наконец мы уселись на берегу. Франц плевал в воду и был похож на взрослого. Он плевал сквозь отверстие на месте выпавшего зуба и попадал куда хотел. Начался разговор, и мальчики стали бахвалиться своим геройством в школе и всяческими бесчинствами. Я молчал, боясь, однако, именно этим привлечь к себе внимание и вызвать гнев Кромера. Оба моих товарища отделились от меня и взяли его сторону, я был чужим среди них и чувствовал, что моя одежда и мое поведение бросают им вызов. Как гимназиста и барчука Франц наверняка не мог любить меня, а те оба, я это прекрасно чувствовал, в случае чего отступились бы и бросили меня на произвол судьбы.

Только от страха начал в конце концов рассказывать и я. Я выдумал великолепную разбойничью историю, героем которой сделал себя. В саду возле Угловой мельницы, рассказал я, мы с одним приятелем ночью утащили целый мешок яблок, причем не обычных, а сплошь ранет и золотой пармен, лучшие сорта. Убежал я в эту историю от опасностей той минуты, а выдумывать и рассказывать я умел. Чтобы тут же не умолкнуть и не угодить в еще худшее положение, я пустил в ход все свое искусство. Один из нас, рассказал я, стоял на страже, а другой сбрасывал яблоки с дерева, и мешок получился такой тяжелый, что под конец нам пришлось открыть его и половину отсыпать, но через полчаса мы вернулись и унесли и это.

Кончив рассказ, я надеялся на какое-то одобрение, к концу я разошелся, сочинительство опьянило меня. Оба мальчика выжидающе промолчали, а Франц Кромер, прищурившись, пронзил меня взглядом и с угрозой в голосе спросил:

– Это правда?

– Да, конечно, – сказал я.

– Значит, сушая правда?

– Да, сушая правда, – упрямо подтвердил я, а сам задыхался от страха.

– Можешь поклясться?

Я очень испугался, но сразу сказал «да».

– Ну, так скажи: «Клянусь Богом и душой».

Я сказал:

– Клянусь Богом и душой.

– Ну, что ж, – отозвался он и отвернулся.

Я думал, что тем дело и кончилось, и был рад, когда он вскоре поднялся и направился в обратный путь. Когда мы вышли на мост, я робко сказал, что мне нужно домой.

– Не надо спешить, – засмеялся Франц, – нам же по пути.

Он медленно плелся дальше, и я не осмеливался убежать, но он действительно шел в сторону нашего дома. Когда мы дошли до него, когда я увидел нашу входную дверь и толстую медную ручку, солнце на окнах и занавески в комнате матери, я глубоко вздохнул. О, возвращение домой! О, доброе, благословенное возвращение в свой дом, в светлоту, в мир!

Когда я быстро отворил дверь и прошмыгнул, готовый захлопнуть ее, Франц Кромер протиснулся вслед за мной. В прохладном, мрачном коридоре с каменным полом, куда свет проникал только со двора, он стал рядом со мной, взял меня за плечо и тихо сказал:

– Не надо так спешить, понял?

Я испуганно посмотрел на него. Он держал мое плечо мертвой хваткой. Я думал, что у него на уме и уж не собирается ли он поднять на меня руку. Если я сейчас закричу, думал я, закричу громко, истошно, успеет ли кто-нибудь спуститься, чтобы спасти меня? Но я не закричал.

– В чем дело? – спросил я. – Что тебе нужно?

– Не так много. Я должен только еще кое-что спросить у тебя. Другим незачем это слышать.

– Вот как? Что же мне еще сказать тебе? Мне надо наверх, пойми.

– Ты же знаешь, – тихо сказал Франц, – чей это сад возле Угловой мельницы?

– Нет, не знаю. Думаю – мельника.

Франц обхватил меня рукой и притянул вплотную к себе, так что мне пришлось глядеть ему прямо в лицо. Глаза у него были злые, улыбался он скверно, а в лице были жестокость и власть.

– Да, миленький, я-то уж могу тебе сказать, чей это сад. Я давно уже знаю, что там украдены яблоки, и знаю, что хозяин сказал, что даст две марки любому, кто укажет вора.

– Боже мой! – воскликнул я. – Но ты же не скажешь ему?

Я чувствовал, что бесполезно взывать к его чести. Он был из другого мира, для него предательство не считалось преступлением. Я чувствовал это безошибочно. В этих делах люди из «другого» мира были не такие, как мы.

– Не скажу? – засмеялся Кромер. – Ты, друг мой, думаешь, наверно, что я фальшивомонетчик, что я могу сам делать себе двухмарковые монеты? Я бедняк, у меня нет богатого отца, как у тебя, и если мне выпадает случай заработать две марки, то я должен их заработать. Может быть, он даст даже больше.

Внезапно он отпустил меня. Наша входная площадка уже не пахла покоем и безопасностью, мир вокруг меня рухнул. Кромер выдаст меня, я – преступник, об этом скажут отцу, может быть, даже придет полиция. Мне грозили все ужасы хаоса, на меня ополчилось все безобразное и опасное в мире. Что я вовсе не вор, не имело никакого значения. Кроме того, я поклялся. О боже, о боже!

Слезы навернулись у меня на глаза. Я чувствовал, что должен откупиться, и в отчаянии обшаривал свои карманы. Ни яблока, ни перочинного ножика – ничего не было. Тут я вспомнил о своих часах. Это были старые серебряные часы, и они не ходили, я носил их «так просто». Они перешли ко мне от нашей бабушки. Я быстро вытащил их.

– Кромер, – сказал я, – послушай, не выдавай меня, это будет некрасиво с твоей стороны. Я подарю тебе свои часы, вот погляди. Больше у меня, к сожалению, ничего нет. Возьми их, они се-

ребряные, и механизм хороший, там только какая-то маленькая неполадка, их можно починить.

Он усмехнулся и взял часы в свою большую руку. Я смотрел на эту руку и чувствовал, как она груба и как глубоко враждебна мне, как она посягает на мою жизнь и на мой покой.

– Они серебряные, – сказал я робко.

– Плевать мне на твое серебро и на эти твои старые часы! – сказал он с глубоким презрением. – Сам отдавай их в починку!

– Но, Франц, – крикнул я, дрожа от страха, что он убежит, – подожди-ка! Возьми все-таки часы! Они действительно серебряные, действительно, в самом деле. Да и нет у меня ничего другого.

Он посмотрел на меня холодно и презрительно.

– Значит, ты знаешь, к кому я пойду. А могу сообщить и в полицию, их унтер-офицера я хорошо знаю.

Он повернулся, чтобы уйти. Я держал его за рукав. Этого нельзя было допустить. Мне куда легче было умереть, чем вынести все, что последует, если он так уйдет.

– Франц, – взмолился я, охрипнув от волнения, – не дури! Ведь это же просто шутка!

– Ну, конечно, шутка, но тебе она может дорого обойтись.

– Скажи, Франц, что мне сделать? Я же сделаю все!

Он осмотрел меня своими прищуренными глазами и опять засмеялся.

– Не будь дураком! – сказал он притворно-добродушно. – Ты же все понимаешь не хуже моего. Я могу заработать две марки, и я не богач, чтобы бросаться ими, ты это знаешь. А ты богатый, у тебя есть даже часы. Тебе нужно только дать мне две марки, и все в порядке.

Я понимал его логику. Но две марки! Это казалось мне таким же огромным и таким же недостижимым богатством, как десять, как сто, как тысяча марок. У меня денег не было. Была копилка, стоявшая у матери, в ней, благодаря приездам дядюшки и другим таким поводам, лежало несколько десяти – и пятипфенниговых монет. Больше у меня ничего не было. Карманных денег я в том возрасте еще не получал.

– У меня ничего нет, – сказал я грустно. – У меня нет никаких денег. А вообще я тебе все отдам. У меня есть книга про индейцев, и солдатики, и компас. Я его принесу тебе.

Кромер только искривил свой наглый злой рот и плюнул на пол.

– Не болтай! – сказал он повелительно. – Свой хлам можешь оставить себе. Компас! Лучше не зли меня сейчас, слышишь, и выкладывай деньги!

– Но у меня нет их, мне никогда не дают денег. Я же не виноват в этом!

– Ну, так принесешь мне завтра эти две марки. Я буду ждать тебя после школы внизу на рынке. И кончено. Не принесешь денег – увидишь.

– Да, но где же мне взять их? Господи, когда у меня ничего нет.

– У вас в доме денег хватает. Это твое дело. Итак, завтра после школы. И повторяю: если не принесешь...

Он метнул мне в глаза ужасный взгляд, еще раз сплюнул и исчез как тень.

Я не мог подняться в дом. Моя жизнь рухнула. Я думал о том, чтобы убежать и никогда больше не возвращаться или утопиться. Но это были неясные видения. Я сел в темноте на нижнюю ступеньку нашей лестницы, весь сжался и ушел в свое горе. Там нашла меня плачущим Лина, когда спускалась с корзиной за дровами.

Я попросил ее ничего не говорить наверху и поднялся. На вешалке возле стеклянной двери висели шляпа отца и материнский зонтик от солнца, домашность и нежность лились на меня от всех этих предметов, мое сердце приветствовало их с мольбой и благодарностью, как приветствует блудный сын вид и запахи родных покоев. Но все это теперь не принадлежало мне, все это был светлый отцовский и материнский мир, а я глубоко и преступно окунулся в чужую стихию, запутался в приключениях и грехе, пребывал под угрозой врага, в ожидании опасностей, страха и позора. Шляпа и зонтик, старый добрый каменный пол, большая картина над шкафом в прихожей, а изнутри, из гостиной, голос моей старшей сестры – все это было милее, нежнее и драгоценнее, чем когда-либо, но это уже не было утешением, надежным достоянием, а было сплошным укором. Все это не было уже моим, не могло пустить меня в свою безоблачность и тишину. На моих ногах бы-

ла грязь, которую нельзя было удалить, вытерев их о коврик, я принес с собой тени, о которых этот родной мир и не ведал. Сколько бывало у меня тайн, сколько страхов, но все это было игрой и шуткой по сравнению с тем, что я принес с собой в эти покои сегодня. Судьба гналась за мной, ко мне тянулись руки, от которых даже мать не смогла бы меня защитить, о которых она и знать не должна была. Состояло ли мое преступление в воровстве или во лжи (разве я не дал ложной клятвы, не поклялся Богом и душой?) – это было безразлично. Мой грех состоял не в чем-то определенном, а в том, что я дал руку дьяволу. Зачем я пошел с ними? Зачем послушался Кромера – покорнее, чем когда-либо отца? Зачем выдумал эту историю о воровстве? Бахвалился преступлениями, словно это геройские подвиги? Теперь дьявол не отпускает мою руку, теперь враг не отстает от меня.

На миг я ощутил уже не страх перед завтрашним днем, а прежде всего ужасную уверенность, что отныне мой путь пойдет неуклонно под гору и во мрак. Я ясно почувствовал, что за моим проступком непременно последуют новые проступки, что мое появление среди семьи, мое приветствие и поцелуи с родителями – ложь, что я ношу с собой рок и тайну, которые скрываю от них.

На миг во мне блеснула надежда, когда я глядел на отцовскую шляпу. Я все скажу отцу, приму его приговор и его кару, сделаю его своим поверенным и спасителем. Это будет всего только покаяние, – а каяться мне уже часто случалось, – тяжелый, горький час, тяжелая и полная раскаяния мольба о прощении.

Как сладостно это звучало! Как завлекающе манило! Но это было невозможно. Я знал, что не сделаю этого. Я знал, что теперь у меня есть тайна, есть вина, которую я должен расхлебывать сам, в одиночку. Может быть, я сейчас на распутье, может быть, с этого часа я всегда буду во власти дурного, всегда должен буду делить тайны со злыми, зависеть от них, слушаться их, быть таким, как они. Я строил из себя мужчину и героя, теперь надо вытерпеть все, что из этого следовало.

Мне пришлось кстати, что отец, когда я вошел, побранил меня за мокрую обувь. Это отвлекло его, он не заметил худшего, и я снес упрек, который втайне отнес к другому. При этом во мне выиграло какое-то странное новое чувство, злое, острое и колющее: я почувствовал свое превосходство над отцом! На миг я почувствовал некое презрение к его неосведомленности, его брань по поводу моих мокрых башмаков показалась мне мелочной. «Если бы ты знал!» – думал я и представлялся себе преступником, которого допрашивают из-за украденной булочки, тогда как ему следовало бы признаться в убийствах. Чувство это было скверное, гнусное, но оно было сильным, в нем была своя глубокая сладость, и оно крепче, чем всякая другая мысль, приковывало меня к моей тайне, к моей вине. Может быть, думал я, Кромер уже пошел в полицию и донес на меня, и надо мной вот-вот разразятся грозы, а на меня здесь смотрят как на малое дитя!

Во всем этом событии, как оно досюда рассказано, этот миг был самым важным и запомнился прочнее всего. Это была первая трещина в священном образе отца, первый надлом в опорах, на которых держалась моя детская жизнь и которые каждому человеку, чтобы стать самим собой, надо разрушить. Из этих событий, не доступных ничьему зрению, состоит внутренняя, существенная линия нашей судьбы. Такая трещина, такой надлом потом зарастают, они заживают и забываются, но в самой тайной глубине они продолжают жить и кровоточить.

Меня самого сразу же ужаснуло это новое чувство, я тут же готов был целовать ноги отцу, чтобы извиниться перед ним за него. Но ни за что существенное извиниться нельзя, и ребенок чувствует это и знает так же хорошо и глубоко, как всякий мудрец.

Я сознавал необходимость подумать о своем деле, поразмыслить о том, как поступить завтра; но у меня ничего не вышло. Весь вечер я был занят единственно тем, что привыкал к изменившемуся воздуху в нашей гостиной. Стенные часы и стол, Библия и зеркало, книжная полка и картинки на стене как бы прощались со мной, я с застывающим сердцем видел, как мой мир, как моя славная, счастливая жизнь уходят в прошлое, отделяются от меня, и ощущал, как сцеплен, как скреплен я новыми сосущими корнями со всем тем чужим и мрачным, чем этот мой мир окружен. Впервые отведал я смерти, а у смерти вкус горький, ибо она – это рождение, это трепет и страх перед ужасающей новизной.

Я был рад, когда наконец улегся в постель! Но прежде, как через последнее чистилище, я

прошел через вечернюю молитву, когда мы пели одну песню, которая принадлежала к числу моих самых любимых. Нет, я не пел с другими, и каждый звук был для меня ядом и желчью. Я не молился с другими, когда отец произносил благословение, а когда он кончил: «...да пребудет с нами со всеми!» – какая-то судорога вырвала меня из этого круга. Милость божья была с ними со всеми, но уже не со мной. Холодный и глубоко усталый, я удалился.

В постели, когда я немного полежал, когда меня любовно объяли тепло и защищенность, сердце мое в страхе еще раз метнулось назад и тоскливо запорхало вокруг происшедшего. Мать, как всегда, пожелала мне спокойной ночи, ее шаги еще отдавались в комнате, свет ее свечи еще теплился за неплотно закрытой дверью. Сейчас, думал я, сейчас она вернется – она почувствовала, она поцелует меня и спросит ласково и многообещающе, и тогда я расплачусь, тогда растает комок у меня в горле, тогда я обниму ее и расскажу ей это, и тогда все будет хорошо, тогда я спасен! И когда щель между дверью и косяком уже потемнела, я все еще какое-то время прислушивался и думал, что так непременно, непременно случится.

Потом я вернулся к действительности и посмотрел своему врагу в лицо. Я увидел его отчетливо, один глаз он прищурил, его рот грубо смеялся, и пока я глядел на него, проникаясь неизбежным, он делался больше и безобразнее, а его злобный глаз бесовски сверкал. Он стоял вплотную ко мне, пока я не уснул, но потом сны мои были не о нем и не о сегодняшнем, нет, мне снилось, что мы катаемся на лодке, родители, сестры и я, а вокруг нас только покой и сияние дня летних каникул. Проснувшись среди ночи, еще ощущая оставшийся вкус блаженства, еще видя, как светятся на солнце белые платья сестер, я низвергнулся из всего этого рая в действительность и снова стоял напротив врага с его злобным глазом.

Утром, когда торопливо вошла мать и громко удивилась, почему я, хотя уже поздно, еще в постели, вид у меня был скверный, а когда она спросила, здоров ли я, меня стошнило.

Этим, казалось, было что-то выиграно. Я очень любил прихворнуть и все утро попить лежа настоем ромашки, слушая, как мать убирает соседнюю комнату, а Лина принимает мясника в прихожей. В утренних часах без школы было какое-то очарование, что-то сказочное, солнце заглядывало тогда в комнату и было не тем же солнцем, от которого в школе опускали зеленые занавески. Но и это сегодня не радовало и приобрело какой-то фальшивый оттенок.

Вот если бы я умер! Но мне только немного нездоровилось, как то часто случалось, и это ничего не меняло. Это защищало меня от школы, но отнюдь не от Кромера, который в одиннадцать ждал меня на рынке. И в материнской ласке тоже не было на этот раз ничего утешительного: она тяготила и причиняла боль. Вскоре я притворился, что снова уснул, и стал думать. Ничего не помогло, в одиннадцать мне нужно было быть на рынке. Поэтому в десять я тихо встал и сказал, что чувствую себя лучше. Это значило, как обычно в таких случаях, что я должен либо снова лечь, либо пойти в школу после обеда. Я сказал, что хочу пойти в школу. Я составил себе некий план.

Без денег мне нельзя было прийти к Кромеру. Я должен был заполучить принадлежавшую мне копилку. В ней было недостаточно денег, я это знал, далеко не достаточно; но что-то там было, а чутье говорило мне, что что-то все же лучше, чем ничего, и должно Кромера хотя бы задобрить.

У меня было скверно на душе, когда я на цыпочках крался в комнату матери и вытаскивал из ее письменного стола свою жестянку; но это было не так скверно, как вчерашнее. Сердцебиение душило меня, и лучше не стало, когда я внизу на лестнице с первого же взгляда обнаружил, что копилка заперта. Взломать ее оказалось очень легко, нужно было только порвать тонкую жестяную сеточку; но это действие далось мне с болью, лишь теперь я совершил кражу. Дотоле я только украдкой таскал сладости, конфеты, фрукты. А это была кража, хотя деньги были мои. Я чувствовал, как еще на шаг приблизился к Кромеру и его миру, как неудержимо качусь вниз, и закусил удила. Черт со мной, пути назад уже нет. Я со страхом пересчитал деньги, в жестянке они звенели так внушительно, а теперь в руке их было ничтожно мало. Там оказалось шестьдесят пять пфеннигов. Я спрятал копилку в нижней прихожей, зажал деньги в руке и вышел из дому – иначе, чем когда-либо выходил за эту дверь. Сверху кто-то позвал меня, как мне показалось; я поспешил прочь.

Было еще много времени, я крался обходными путями по улицам какого-то изменившегося города, под какими-то невиданными облаками, мимо домов, которые на меня глядели, и мимо лю-

дей, которые подозревали меня. По дороге мне вспомнилось, что один мой однокашник как-то нашел талер на скотном рынке. Я готов был помолиться, чтобы Бог совершил чудо и ниспослал мне тоже такую находку. Но у меня уже не было права молиться. Да и тогда копилка не стала бы снова целой.

Франц Кромер увидел меня издалека, но шел в мою сторону очень медленно, вовсе, казалось, не замечая меня. Приблизившись, он кивком велел мне следовать за ним и, не оглядываясь, спокойно пошел дальше, вниз по Соломенной улице и через мостик, и остановился только у последних домов перед какой-то стройкой. Там не работали, стены стояли еще голые, без дверей и без окон. Кромер оглянулся и вошел в дверной проем. Я – вслед за ним. Он зашел за стену, кивком подозвал меня и протянул руку.

– Принес? – спросил он холодно.

Я вынул из кармана сжатый кулак и вытряхнул деньги в его ладонь. Он пересчитал их еще раньше, чем отзвенел последний пятак.

– Здесь шестьдесят пять пфеннигов, – сказал он и посмотрел на меня.

– Да, – сказал я робко. – Это все, что у меня есть, слишком мало, я знаю. Но это все. Больше нет.

– Я думал, что ты умнее, – почти мягко укорил он меня. – Между людьми чести все должно быть по правилам. Я не возьму у тебя ничего, что не положено, ты это знаешь. Забирай свою мелочь! Тот – ты знаешь кто – не станет со мной торговаться. Тот заплатит.

– Но у меня же нет, нет больше! Это были мои сбережения.

– Это твое дело. Но я не хочу делать тебя несчастным. Ты должен мне еще одну марку и тридцать пять пфеннигов. Когда я их получу?

– О, ты, конечно, получишь их, Кромер! Сейчас я не знаю... возможно, скоро у меня будет больше, завтра или послезавтра. Ты же понимаешь, что я не могу сказать об этом отцу.

– Это меня не касается. Я не такой, чтобы кому-то вредить. Я ведь мог бы получить эти деньги еще до двенадцати, а я беден. Ты хорошо одет, и обед у тебя получше, чем мой. Но я ничего не скажу. Я лучше немного подожду. Послезавтра я тебе свистну, после двенадцати, и ты уладишь дело. Знаешь, как я свищу?

Он свистнул для моего сведения, я этот свист часто слышал.

– Да, – сказал я, – знаю.

Он ушел, словно я не имел к нему никакого отношения. Между нами была сделка, больше ничего.

Еще и сегодня, думаю, кромеровский свист испугал бы меня, если бы я вдруг снова услышал его. Отныне я слышал его часто, мне казалось, я слышу его всегда и непрестанно. Не было такого места, такой игры, такой работы, такой мысли, куда бы не проникал этот свист, от которого я зависел, который стал теперь моей судьбой. В мягкие, красочные дни осени я часто бывал в нашем садике, очень мною любимом, и какой-то странный порыв заставлял меня возвращаться к детским играм прежних эпох; я как бы играл мальчика, который был младше меня, был еще благонравен и свободен, невинен и защищен. Но в эти игры всегда, как ожидалось, и все-таки ужасающе внезапно, врвался откуда-то кромеровский свист и обрывал нить, разрушал фантазии. Я должен был идти, следовать за своим мучителем в скверные и мерзкие места, должен был отчитываться перед ним и выслушивать напоминания о деньгах. Все это тянулось, наверное несколько недель, но мне они казались годами, казались вечностью. Редко бывали у меня деньги, пятак или десять пфеннигов, утащенные с кухонного стола, когда Лина оставляла там рыночную корзинку. Кромер каждый раз ругал меня и обдавал презрением; это я хотел обмануть его и посягал на его законное право, это я обкрадывал его, это я делал его несчастным! Не столь часто в жизни беда подбиралась к моему сердцу так близко, никогда не чувствовал я большей безнадежности, большей зависимости.

Копилку я наполнил фишками и поставил на место, никто о ней не спрашивал. Но и это могло на меня свалиться в любой день. Еще больше, чем грубого кромеровского свиста, я часто страшился матери, когда она тихонько подходила ко мне – не затем ли, чтобы спросить о копилке?

Поскольку я не раз являлся к своему бесу без денег, он стал мучить и эксплуатировать меня другим способом. Я должен был на него работать. Если отец Кромера посылал его куда-то, Кро-

мер отправлял меня туда вместо себя. Или он давал мне какое-нибудь трудное задание – проскакать десять минут на одной ноге, прилепить бумажку к одежде прохожего. Ночами я во сне продолжал испытывать эти муки и просыпался в холодном поту.

На какое-то время я заболел. Меня часто рвало и знобило, а по ночам бросало в жар и вгоняло в пот. Мать чувствовала, что что-то не в порядке, и всячески показывала мне свое участие, которое меня мучило, которому я не мог ответить доверием.

Однажды вечером, когда я уже лег, она принесла мне дольку шоколада. Это был отголосок прежних лет, когда я, если хорошо себя вел, часто получал на сон грядущий такие лакомства. И вот сейчас она стояла и протягивала мне шоколадку. Мне было так больно, что я смог только покачать головой. Она спросила, что со мной, погладила мои волосы. Я сумел только выдавить из себя: «Нет! Нет! Не хочу ничего». Она положила шоколадку на тумбочку и ушла. Когда она на следующий день стала меня об этом расспрашивать, я сделал вид, будто ничего не помню. Однажды она привела ко мне доктора, который осмотрел меня и назначил мне холодные омовения по утрам.

Мое состояние в то время было родом безумия. Среди порядка и мира, царивших в нашем доме, я жил в страхе и муках, как призрак, не участвовал в жизни остальных, редко забывался на час. С отцом, который часто раздраженно требовал от меня объяснений, я был замкнут и холоден.

Глава вторая Каин

Спасение от моих мук пришло с совершенно неожиданной стороны, и одновременно с ним в мою жизнь вошло нечто новое, продолжающее действовать и поныне.

В нашу гимназию однажды поступил новичок. Он был сыном состоятельной вдовы, поселившейся в нашем городе, и носил на рукаве траурную повязку. Он учился в старшем, чем мой, классе, да и был на несколько лет старше, но и я, как все, заметил его. Этот примечательный ученик, казалось, был гораздо старше, чем выглядел, ни на кого он не производил впечатления мальчика. Среди нас, ребячливых школьников, он двигался отчужденно и свободно, как мужчина, вернее, как господин. Особой любовью он не пользовался, он не участвовал в играх, а тем более в драках, однако его уверенный и решительный тон в обращении с учителями нравился всем. Звали его Макс Демиан.

Однажды, как то время от времени случалось в нашей школе, по каким-то причинам в нашей очень большой классной комнате усадили еще один класс. Это был класс Демиана. У нас, маленьких, был урок Закона Божьего, а большие должны были писать сочинение. Когда в нас вдалбливали историю Каина и Авеля, я часто поглядывал на Демиана, чье лицо как-то странно привлекало меня, и видел это умное, светлое, необыкновенно твердое лицо внимательно и сосредоточенно склонившимся над работой; он походил не на ученика, выполняющего задание, а на исследователя, погруженного в собственные проблемы. Приятен он мне, в сущности, не был, напротив, у меня было что-то против него, он был, на мой взгляд, слишком высокомерен и холоден, очень уж вызывающе самоуверен, и в глазах его было то выражение взрослых, которого дети никогда не любят, – немного грустное, с искорками насмешливости. Однако – с приязнью ли, с сожалением ли – я поглядывал на него непрерывно; но как только он однажды взглянул на меня, я испуганно отвел глаза. Думая сегодня о том, как выглядел он тогда в роли ученика, могу сказать: он был во всех отношениях иным, чем прочие, на нем явно лежала печать особости, самобытности, и поэтому-то он обращал на себя внимание – хотя в то же время делал все, чтобы не обращать на себя внимания, держался и вел себя как переодетый принц, находящийся среди крестьянских детей и всячески старающийся казаться таким же, как они.

По пути из школы домой он шел позади меня. Когда другие разошлись, он перегнал меня и поздоровался со мной. Его приветствие, хоть он и подражал при этом нашему школьному тону, было тоже очень взрослым и вежливым.

– Пойдем вместе? – спросил он приветливо. Я был польщен и утвердительно кивнул. Затем я описал ему, где живу.

– Ах, там! – сказал он улыбувшись. – Этот дом я знаю. Над вашим входом есть такая любопытная штуковина, это меня сразу заинтересовало.

Я не сразу понял, что он имел в виду, и удивился, что он знает наш дом как бы лучше, чем я. Верно, замковый камень над сводом нашей входной двери изображал собой некий герб, но за много лет он сделался плоским и не раз закрашивался, к нам и к нашей семье, насколько я знал, он не имел никакого отношения.

– Ничего об этом не знаю, – сказал я робко. – Это птица или что-то подобное, наверно, очень древнее. Дом, говорят, принадлежал когда-то монастырю.

– Вполне возможно, – кивнул он. – Рассмотрю это как-нибудь хорошенько! Такие вещи часто бывают очень интересны. Думаю, что это ястреб.

Мы пошли дальше, я совсем оробел. Вдруг Демиан засмеялся, словно вспомнив что-то веселое.

– Ах, ведь я побывал на вашем уроке, – сказал он оживленно. – Эта история о Каине, который носил на себе печать, так ведь? Она тебе нравится?

Нет, мне редко что-либо нравилось из того, что нам приходилось учить. Но я не отважился это сказать, у меня было такое чувство, будто со мной говорит взрослый. Я сказал, что эта история мне нравится.

Демиан похлопал меня по плечу.

– Не надо передо мной притворяться, дорогой. Но история эта в самом деле любопытна, намного, думаю, любопытней, чем большинство других, которые учат в школе. Учитель ведь мало что об этом сказал, только обычное о Боге, грехе и так далее. Но я думаю... – он запнулся и, улыбувшись, спросил: – А тебе это интересно?

– Так вот, я думаю, – продолжал он, – эту историю о Каине можно понимать и совсем иначе. Большинство вещей, которым нас учат, конечно, вполне правдивы и правильны, но на все можно смотреть и совсем не так, как учителя, и тогда они большей частью приобретают куда лучший смысл. Вот этим Каином, например, и печатью на нем нельзя же вполне удовлетвориться в том виде, в каком нам его преподносят. Ты так не думаешь? Что он, поссорившись, убивает своего брата, такое, конечно, может случиться, и что потом ему становится страшно и он признает свою вину, тоже возможно. Но то, что он за свою трусость еще и награждается орденом, который его защищает и нагоняет страху на всех других, это все же довольно странно.

– Правда, – сказал я заинтересованно: это начинало меня занимать. – Но как же объяснить эту историю иначе?

Он похлопал меня по плечу.

– Очень просто! Существовала и положила начало этой истории печать. Был некий человек, и в лице у него было что-то такое, что пугало других. Они не осмеливались прикасаться к нему, он внушал им уважение, он и его дети. Но, наверно, и даже наверняка, это не была в самом деле печать на лбу, вроде почтового штемпеля, такие грубые шутки жизнь редко выкидывает. Скорей это была какая-то чуть заметная жутковатость, чуть больше, чем люди к тому привыкли, ума и отваги во взгляде. У этого человека была сила, перед этим человеком робели. На нем была «печать». Объяснить это можно было как угодно. А «угодно» всегда то, что удобно и подтверждает твою правоту. Детей Каина боялись, на них была «печать». Вот и усмотрели в печати не то, чем она была, не награду, а ее противоположность. Говорилось, что парни с этой печатью жутки, а жутки они и были. Люди мужественные и с характером всегда очень жутки другим людям. Наличие рода бесстрашных и жутких было очень неудобно, и вот к этому роду прицепили прозвище и сказку, чтобы отомстить ему, чтобы немножко вознаградить себя за все страхи, которые пришлось вытерпеть. Понимаешь?

– Да... то есть... получается, что Каин вовсе не был злым? И значит, вся эта история в Библии, в сущности, не правдива?

– И да, и нет. Такие старые-престарые истории всегда правдивы, но не всегда они так записаны и не всегда их так объясняют, как надо бы. Словом, я думаю, что Каин был замечательный малый, и только потому, что его боялись, к нему прицепили эту историю. История эта была просто слухом, чем-то таким, что люди болтают, а истинной правдой обернулась постольку, поскольку

Каин и его дети и в самом деле носили на себе своего рода «печать» и были не такие, как большинство людей.

Я был изумлен.

– И ты думаешь, значит, что и эта история насчет убийства – неправда? – спросил я взволнованно.

О нет! Это наверняка правда. Сильный убил слабого. Был ли то действительно его брат, на этот счет могут быть сомнения. Это неважно, в конце концов все люди братья. И так, сильный убил слабого. Может быть, это был геройский поступок, а может быть, и нет. Во всяком случае, другие слабые пребывали теперь в страхе, они всячески жаловались, и если их спрашивали: «Почему же вы просто не убьете его?», они не говорили: «Потому что мы трусы», а говорили: «Нельзя. На нем печать. Бог отметил его!» Так, наверно, возник этот обман... Однако я задерживаю тебя. Прощай!

Он свернул в Старую улицу и оставил меня в одиночестве, удивленным, как никогда. Как только он удалился, все, что он говорил, показалось мне совершенно невероятным! Каин – благородный человек, Авель – трус! Каинова печать – награда! Это было нелепо, это было кощунственно и гнусно. Что же тогда Господь Бог? Разве не принял он жертвы Авеля, разве не был Авель угоден ему?... Нет, глупость! И я решил, что Демиан потешался надо мной, дурачил меня. Да, он был чертовски умный малый и говорить он умел, но такое... нет...

Как бы то ни было, никогда еще я так много не размышлял ни о какой библейской или другой истории. И ни разу за долгое время так полностью не забывал о Франце Кромере, на несколько часов, на целый вечер. Дома я еще раз прочел эту историю по Библии, она была короткая и ясная, безумием было искать тут какого-то особого, тайного смысла. Этак каждый убийца может объявить себя любимцем Бога! Нет, это был вздор. Приятна только была манера Демиана говорить такие вещи, этак легко и красиво, словно само собой разумеется, да еще с этими глазами!

Что-то, однако, было ведь у меня самого не в порядке, даже в большом беспорядке. Прежде я жил в светлом и чистом мире, был своего рода Авелем, а теперь я глубоко увяз в «другом», низко пал, но так уж виноват в этом, в сущности, не был! Как же так? И тут во мне сверкнуло одно воспоминание, от которого у меня перехватило дух. В тот недобрый вечер, когда началась моя теперешняя беда, тогда-то и случилось это у меня с отцом, тогда я вдруг на миг как бы разглядел насквозь и презирал его и его светлый мир! Да, тогда я сам, будучи Каином и неся на себе печать, вообразил, что эта печать не позор, а награда, отличие, и что мой злой поступок и мое горе возвышают меня над отцом, возвышают над добрыми и добродетельными.

Не в такой, как сейчас, форме ясной мысли изведаль я это тогда, но вся суть ее там присутствовала, то была лишь вспышка чувств, необыкновенных чувств, которые причинили мне боль и все же наполнили меня гордостью.

Если задуматься, как удивительно говорил Демиан о бесстрашных и трусах! Как необыкновенно истолковал он печать на челе Каина! Как давно светился при этом его взгляд, его поразительный взгляд взрослого! И у меня смутно мелькнуло в уме: не сам ли он, этот Демиан, своего рода Каин? Почему он защищает его, если не чувствует себя подобным ему? Почему у него такая сила во взгляде? Почему он так насмешливо говорит о «других», о робких, которые ведь, в сущности, добродетельны и угодны Богу?

Я не приходил ни к чему с этими мыслями. В колодец упал камень, а колодцем была моя молодая душа. И долго, очень долго эта история с Каином, убийством и печатью оставалась той точкой, откуда брали начало все мои попытки познания, сомнения и критики.

Я заметил, что и других учеников сильно занимал Демиан. О каиновской истории я никому ничего не говорил, но казалось, что он вызывает интерес и у других. Во всяком случае, о «новеньком» ходило множество слухов. Если бы я их все помнил, каждый бросил бы какой-то свет на него, каждый можно было бы истолковать. Помню только, сперва говорили, что мать Демиана очень богата. Говорили также, что она никогда не ходит в церковь и ее сын тоже не ходит. Они евреи, уверял кто-то, но могли быть и тайными магометанами. Еще рассказывали всякие сказки о физической силе Макса Демиана. Точно было известно, что он ужасно унижил самого сильного своего одноклассника, который вызвал его подраться, а когда тот отказался, назвал его трусом. Те, кто

при этом присутствовал, говорили, что Демриан просто взял его за затылок и крепко сжал, отчего мальчик побледнел, а потом незаметно удалился и несколько дней не мог шевельнуть рукой. В какой-то вечер прошел даже слух, что он умер. Всякое говорили одно время, всякому верили, все волновало и поражало. Потом на какой-то срок насытились. Вскоре, однако, среди нас, учеников, возникли новые слухи, сообщавшие, что Демриан путается с девушками и «все знает».

Между тем моя история с Францем Кромером шла своим неизбежным путем. Я не мог избавиться от него, ибо даже если он и оставлял меня на день-другой в покое, я был все-таки привязан к нему. В моих снах он не покидал меня, как тень, и то, чего он не делал мне в действительности, мое воображение заставляло его проделывать в этих снах, в которых я становился полностью его рабом. Я жил в этих снах – видеть сны я всегда был мастер – больше, чем в действительности, я расточал силы и жизнь на эти тени. Среди прочего мне часто снилось, что Кромер истязает меня, что он плюет на меня, становится на меня коленями и, того хуже, совращает меня на тяжкие преступления – вернее, не совращает, а просто силой своего влияния заставляя меня их совершать. В самом ужасном из этих снов, от которого я проснулся в полубезумье, я покушался на убийство отца. Кромер наточил нож и вложил его мне в руку, мы притаились за деревьям какой-то аллеи и ждали кого-то, кого – я не знал; но когда кто-то появился и Кромер, сжав мне плечо, дал понять, что этого и нужно заколоть, оказалось, что это мой отец. Тут я проснулся.

За этими заботами я, правда, думал еще о Каине и Авеле, но уже меньше о Демриане. Впервые он снова приблизился ко мне, странным образом, тоже во сне. Мне приснились истязания и надругательства, которым я подвергался, но на этот раз вместо Кромера на меня становился коленями Демриан. И – это было ново и произвело на меня глубокое впечатление – то, что от Кромера я претерпевал с протестом и мукой, от Демриана я принимал охотно, с чувством, в котором блаженства было столько же, сколько страха. Это снилось мне дважды, потом на его место снова пришел Кромер.

Что испытывал я в этих снах, а что в действительности, точно разграничить я давно уже не могу. Во всяком случае, моя скверная связь с Кромером продолжалась, она не кончилась и тогда, когда я наконец выплатил ему требуемую сумму путем мелких краж. Нет, теперь он знал об этих кражах, ибо всегда спрашивал меня, откуда деньги, и я был в руках у него в еще большей мере, чем прежде. Он часто грозил мне, что все расскажет моему отцу, и тогда мой страх был едва ли сильнее, чем глубокое сожаление о том, что я с самого начала не сделал этого сам. Между тем, как я ни был несчастен, я раскаивался не во всем, во всяком случае не всегда, и порой у меня бывало ощущение, что все так и должно быть. Надо мной висел рок, и было бесполезно бороться с ним.

Наверно, мои родители немало страдали от этого положения. Мною овладел какой-то чужой дух, я выпадал из нашего содружества, которое было таким тесным и безумная тоска о котором, как о потерянном рае, часто на меня находила. Обращались со мной, прежде всего мать, скорее как с больным, чем как со злодеем, но как обстояло дело по сути, я мог судить лучше всего по поведению обеих моих сестер. Из этого поведения, очень щадящего и все же бесконечно меня огорчавшего, ясно видно было, что я этакий одержимый, которого из-за его состояния надо скорее жалеть, чем ругать, но в которого все-таки вселилось зло. Я чувствовал, что за меня молятся иначе, чем обычно, и чувствовал тщетность этих молитв. Я часто испытывал жгучее желание облегчения, потребность в настоящей исповеди, и в то же время предчувствовал, что ни отцу, ни матери все по-настоящему рассказать и объяснить не смогу. Я знал, что это примут доброжелательно, что меня будут очень щадить, даже жалеть, но полностью не поймут, и на все это посмотрят как на какую-то оплошность, тогда как это – судьба.

Знаю, некоторые не поверят, что ребенок неполных одиннадцати лет способен на такие чувства. Не этим людям рассказываю я свою историю. Я рассказываю ее тем, кто знает человека лучше. Научившись превращать часть своих чувств в мысли, взрослый замечает отсутствие этих мыслей у ребенка и полагает, что ничего и не пережито. А у меня редко в жизни бывали такие глубокие переживания и страдания, как тогда.

День был дождливый, мой мучитель велел мне явиться на Крепостную площадь, и вот я стоял, разгребая ногами мокрые листья каштанов, которые все еще падали с черных, промокших де-

ревьев. Денег у меня не было, но я отложил два куска пирога и взял их с собой, чтобы хотя бы что-нибудь дать Кромеру. Я давно привык стоять где-нибудь в уголке и ждать его, иногда очень долго, и мирился с этим, как мирится человек с неотвратимым.

Наконец пришел Кромер. Он сегодня особенно не задержался. Он ущипнул меня разок-другой у ребер, усмехнулся, принял пирог, предложил мне даже мокрую папиросу, которой я, однако, не взял, и был приветливей чем обычно.

– Да, – сказал он уходя, – чтоб не забыть... в следующий раз захвати свою сестру, старшую. Как там ее зовут?

Я ничего не понял и ничего не ответил. Я только удивленно посмотрел на него.

– Непонятно, что ли? Доставь мне сестру.

– Нет, Кромер, это – нет. Нельзя мне, да она и не пойдет со мной.

Я был готов к тому, что это лишь опять какая-то каверза, какой-то предлог. Он часто так делал, требовал чего-нибудь невозможного, нагонял на меня страху, унижал меня, а потом постепенно начинал торговаться. Я откупался от него деньгами или другими подношениями.

Но на этот раз было совсем не так. Он почти даже не разозлился на мой отказ.

– Ну, – сказал он вскользь, – ты подумай. Я хочу познакомиться с твоей сестрой. Как-нибудь представится случай. Ты просто возьмешь ее с собой на прогулку, а я потом присоединюсь. Завтра я тебе свистну, и мы поговорим об этом еще раз.

Когда он ушел, я вдруг что-то понял насчет смысла его домогательства. Я был еще совсем дитя, но понаслышке я знал, что, когда мальчики и девочки становятся немного старше, они иногда вытворяют друг с другом что-то таинственное, предосудительное и запрещенное. И вот я, значит, должен... мне вдруг стало ясно, как это чудовищно! Решение ни за что этого не делать я принял сразу. Но что будет тогда и как отомстит мне Кромер, об этом я не осмелился и думать. Начиналась новая моя пытка, прежнего было еще недостаточно.

Уныло шел я через пустую площадь, засунув руки в карманы. Новые муки, новое рабство!

Тут меня окликнул чей-то свежий, низкий голос. Я испугался и пустился бегом. Кто-то побежал за мной, чья-то рука мягко схватила меня сзади. Это был Макс Демиан.

Я сдался в плен.

– Это ты? – сказал я неуверенно. – Ты так испугал меня!

Он посмотрел на меня, и никогда взгляд его не был в большей мере, чем сейчас, взглядом взрослого, знающего свое превосходство, проницательного человека. Давно уже мы не говорили друг с другом.

– Сожалею об этом, – сказал он в своей вежливой и при этом полной определенности манере. – Но, послушай, не надо так пугаться.

– Ну, ведь со всяким случается.

– Пожалуй. Но пойми: когда ты так дрожишь перед кем-то, кто ничего не сделал тебе, этот кто-то задумывается. Это удивляет его, возбуждает его любопытство. Он думает себе: очень уж ты пуглив. И думает дальше: так бывает, только когда чего-то бояться. Трусы всегда боятся; но трусом тебя, мне кажется, нельзя назвать, не так ли? О, конечно, героем тебя тоже не назовешь. Есть вещи, которых ты боишься. А бояться не надо. Нет, людей никогда не надо бояться. Ведь меня ты не боишься? Верно?

– О нет, нисколько.

– Вот видишь. Но есть люди, которых ты боишься?

– Не знаю... Оставь меня, чего ты от меня хочешь?

Он не отставал от меня, – я ускорил шаг с мыслью убежать, – и я чувствовал его взгляд сбоку.

– Предположим, – начал он снова, – что я желаю тебе добра. Бояться тебе меня, во всяком случае, не следует. Я хочу проделать с тобой один опыт, это забавно и, может быть, научит тебя кое-чему очень полезному. Так вот, слушай... Иногда я пытаюсь заниматься искусством, которое называется чтением мыслей. Никакого колдовства тут нет, но если не знать, как это делается, то выглядит это весьма странно. Людей можно этим еще как удивить... Попробуем разок. Так вот, я расположен к тебе или интересуюсь тобой и хочу сейчас узнать, что у тебя на душе. Первый шаг к

этому я уже сделал. Я испугал тебя – значит, ты пуглив. Есть, значит, вещи и люди, которых ты боишься. Откуда это идет? Бояться никого не надо. Когда кого-то боишься, то происходит это от того, что ты допустил, чтобы этот кто-то имел власть над тобой. Ты, например, сделал что-то скверное, а другой это знает – тогда у него есть власть над тобой. Понял? Ведь это же ясно, правда?

Я беспомощно посмотрел ему в лицо, оно было серьезным и умным, как всегда, и добрым тоже, но без всякой сентиментальности, оно было, скорее, строгим. Была в нем справедливость или что-то подобное. Я не понимал, что со мной; он стоял передо мной как волшебник.

– Понял? – спросил он еще раз.

Я кивнул. Говорить я не мог.

– Я же сказал тебе, что выглядит это смешно – читать мысли, но все делается самым естественным образом. Я мог бы тебе еще, например, довольно точно сказать, что ты обо мне подумал, когда я рассказал тебе как-то историю о Каине и Авеле. Ну, да здесь это не к месту. Вполне допускаю также, что ты видел меня во сне. Однако оставим это! Ты мальчик умный, а большинство такие глупые! Мне приятно поговорить с умным мальчиком, который мне внушает доверие. Ты ведь не против?

– О нет. Я только не совсем понимаю...

– Продолжим, однако, наш забавный опыт! Итак, мы выяснили, что мальчик С. пуглив... он кого-то боится... у него, наверно, есть с этим другим какая-то тайна, которая ему очень мешает... Так приблизительно?

Как во сне, покорился я его голосу, его влиянию. Я только кивнул. Не звучал ли это голос, который мог изойти только из меня самого? Который все знал? Который все знал лучше, яснее, чем я сам?

Демриан с силой хлопнул меня по плечу.

– Правильно, значит. Так я и думал. Теперь еще один-единственный вопрос: ты знаешь, как зовут того мальчика, который только что ушел?

Я испугался донельзя, моя тайна от прикосновения мучительно сжалась во мне, ей не хотелось выходить на свет.

– Какой мальчик? Никакого мальчика не было здесь, был только я.

Он засмеялся.

– Ну-ка скажи! – засмеялся он. – Как его зовут?

Я прошептал:

– Ты имеешь в виду Франца Кромера?

Он удовлетворенно кивнул мне.

– Браво! Ты молодец, мы с тобой еще подружимся. Но должен сказать тебе одну вещь: этот Кромер или как там его – скверный малый. Его лицо говорит мне, что он негодяй! А ты что думаешь?

– О да, – вздохнул я, – он плохой, он дьявол! Но он ничего не должен знать! Ради бога, он ничего не должен знать! Ты его знаешь? Он знает тебя?

– Успокойся! Он ушел, и он не знает меня... Еще не знает. Но я бы не прочь познакомиться с ним. Он учится в народной школе?

– Да.

– В каком классе?

– В пятом... Но не говори ему ничего! Пожалуйста, пожалуйста, ничего не говори!

– Успокойся, ничего тебе не будет. Наверно, у тебя нет желания рассказать мне об этом Кромере немного больше?

– Не могу! Оставь меня!

Он помолчал.

– Жаль, – сказал он затем, – мы могли бы продолжить наш опыт. Однако я не хочу тебя мучить. Но ты же знаешь, не правда ли, что твой страх перед ним неправилен? Такой страх нас совсем изводит, от него надо избавляться. Ты должен избавиться от него, если хочешь стать парнем что надо. Понимаешь?

– Конечно, ты прав... но не выходит. Ты же не знаешь...

– Ты же видел, что я кое-что знаю, больше, чем ты мог думать... Уж не должен ли ты ему отдать какие-то деньги?

– Да, это тоже, но это не главное. Я не могу это сказать, не могу!

– Не поможет, значит, если я дам тебе столько денег, сколько ты ему должен?.. Я бы вполне мог дать их тебе.

– Нет, нет, не в этом дело. И прошу тебя: никому об этом не говори! Ни слова! Ты сделаешь меня несчастным!

– Положись на меня, Синклер. Ваши тайны откроешь мне как-нибудь позже...

– Никогда, никогда! – воскликнул я с жаром.

– Как угодно. Я говорю только, что когда-нибудь, может быть, ты расскажешь мне больше. Только добровольно, разумеется! Ты же не думаешь, что я поступлю так же, как сам Кромер?

– О нет... но ты же ничего не знаешь об этом!

– Ровным счетом ничего. Я только размышляю об этом. И я никогда не поступлю так, как Кромер, можешь поверить. Да ты и не должен мне ничего.

Мы довольно долго молчали, и я успокоился. Но осведомленность Демиана становилась все более загадочной для меня.

– Теперь я пойду домой, – сказал он и плотнее запахнул под дождем грубошерстное непромокаемое пальто. – Хочу только еще раз сказать тебе одно – ты должен избавиться от этого малого! Если уж никак не получится по-другому, убей его! У меня ты вызвал бы уважение и одобрение, если бы это сделал. Я и помог бы тебе.

Меня опять охватил страх. Я вдруг снова вспомнил историю о Каине. Мне сделалось жутко, и я тихонько заплакал. Слишком много жуткого было вокруг меня.

– Ну, ладно, – улыбнулся Макс Демиан. – Ступай себе домой! Как-нибудь справимся. Хотя убить было бы проще всего. В таких делах чем проще, тем лучше. Ничего хорошего ты от своего друга Кромера не дождешься.

Я пришел домой, и мне показалось, что я отсутствовал здесь целый год. Все выглядело иначе. Между мной и Кромером встало какое-то будущее, какая-то надежда. Я не был больше один! И только сейчас я увидел, до чего одинок был я со своими мыслями столько недель. И мне тут же подумалось то, о чем я уже не раз размышлял: что признание перед родителями облегчило бы меня, но полного избавления мне не дало бы. А сейчас я чуть не признался, причем другому, постороннему человеку, и на меня повеяло предвестием избавления!

Однако мой страх отнюдь еще не был преодолен, и я еще ждал долгих и тяжелых объяснений с отцом. Тем удивительнее было мне, что все совершилось так тихо, тайком, без шума.

Свиста Кромера перед нашим домом не слышалось один день, два дня, три дня, неделю. Я боялся этому верить и внутренне был настороже: не явится ли он все-таки вдруг именно тогда, когда его уже перестанешь ждать. Но он так и не объявился! Не доверяясь новой свободе, я все еще не верил в это вполне. Пока наконец случайно не встретился с самим Францем Кромером. Он шел вниз по Канатной улице, прямо навстречу мне. Увидев меня, он вздрогнул, скорчил какую-то кривую гримасу и тут же повернул назад, чтобы не встретиться со мной.

Это был для меня невероятный миг! Мой враг убежал от меня! Мой дьявол меня боялся! Я был сам не свой от радости и неожиданности.

В эти дни Демиан однажды показался опять. Он ждал меня перед школой.

– Здравствуй, – сказал я.

– Доброе утро, Синклер. Хотелось услышать, как твои дела. Кромер ведь теперь не пристает к тебе, правда?

– Это ты сделал? Но как же? Как же? Я не понимаю. Он совсем исчез.

– Это хорошо. Если он вдруг явится снова – думаю, он этого не сделает, но он ведь наглец, – скажи ему только, чтобы вспомнил про Демиана.

– Но какая тут связь? Ты затеял с ним ссору и вздул его?

– Нет, я до этого не охотник. Я просто поговорил с ним, так же, как и с тобой, и сумел объяснить ему, что ему самому выгоднее отстать от тебя.

– Но ты же, конечно, не давал ему денег?

– Нет, мальчик мой. Этот путь ты ведь уже испробовал.

Он ничего больше не открыл мне, как я его ни расспрашивал, и у меня осталось прежнее тяжелое чувство по отношению к нему, представлявшее собой странную смесь благодарности и робости, восхищения и страха, приязни и внутреннего сопротивления.

Я решил увидеть его вскоре снова и тогда поговорить с ним обо всем подробнее, а также и насчет каиновской истории.

Не привелось.

Благодарность – это вообще не та добродетель, в которую я верю, а требовать ее от мальчика было бы, по-моему, смешно. Поэтому я не очень-то удивляюсь своей собственной полной неблагодарности, проявленной в отношении Макса Дамиана. Сегодня я совершенно уверен, что я был бы искалечен и погублен на всю жизнь, если бы он не освободил меня от когтей Кромера. Это освобождение я и тогда уже ощутил как величайшее событие моей молодой жизни – но от самого освободителя я отмахнулся, как только он сотворил свое чудо.

Эта неблагодарность, повторяю, не кажется мне странной. Поражает меня только недостаточность любопытства, мною проявленная. Как мог я спокойно прожить хоть один день, не приблизившись к тайнам, в соприкосновение с которыми привел меня Дамиан? Как мог я сдержать жажду больше узнать о Каине, о Кромере, о чтении мыслей?

Это трудно понять, и все-таки это так. Я вдруг увидел себя выпутавшимся из демонических сетей, снова увидел мир перед собой светлым и радостным, не испытывал больше приступов страха и удушающего сердцебиения. Чары были разрушены, я больше не был проклятым и истязаемым грешником, я снова был мальчиком-школьником, как всегда. Чтобы поскорее вновь обрести равновесие и покой, моя природа стремилась прежде всего отбросить прочь, позабыть все безобразное и угрожающее. Удивительно быстро исчезла из памяти вся эта долгая история моей вины и запуганности, не оставив с виду никаких следов и царапин.

А то, что я старался побыстрее забыть своего помощника и спасителя, это мне и сегодня понятно. Из юдоли своего проклятия, из ужасного рабства у Кромера я всеми силами своей поврежденной души устремился назад, туда, где был прежде доволен и счастлив: в потерянный рай, который снова открылся, в светлый отцовский и материнский мир, к сестрам, к благоуханию чистоты, к богоугодности Авеля.

После моего короткого разговора с Дамианом, уже в тот же день, полностью убедившись наконец в своей вновь обретенной свободе и не боясь больше никаких возвратов к старому, я сделал то, чего так часто и так страстно желал, – я исповедался. Я пошел к матери, я показал ей копилку с поврежденным замком, наполненную фишками вместо денег, и рассказал ей, как по собственной вине долгое время был в путах безжалостного мучителя. Она не все поняла, но она увидела копилку, увидела мой изменившийся взгляд, услышала мой изменившийся голос, почувствовала, что я выздоровел, что возвращен ей.

И тогда я в душевном подъеме справил праздник своего возрождения, возвращения блудного сына. Мать отвела меня к отцу, вся история была рассказана снова, посыпались вопросы и возгласы удивления, родители гладили меня по голове, облегченно вздохнув наконец после долгой полосы удрученности. Все было великолепно, все было как в сказках, все растворилось в чудесной гармонии.

В эту гармонию я и убежал тогда с истинной страстью. Я никак не мог насытиться тем, что снова обрел мир и вернул себе доверие родителей, я стал домашним пай-мальчиком, играл больше, чем когда-либо, с сестрами и во время молитвы пел милые старые песни с чувством спасенного и новообращенного человека. Это делалось от души, никакой лжи тут не было.

Но что-то все-таки было не в порядке! И тут-то она и есть, та точка, которая только и может правдиво объяснить мою забывчивость в отношении Дамиана. Мне следовало ему исповедаться! Исповедь получилась бы менее декоративной и трогательной, но более плодотворной для меня. Я тогда всячески цеплялся за свой прежний, райский мир, я вернулся домой и был принят с милостью. Дамиан же отнюдь не принадлежал к этому миру, не подходил к нему. Он тоже, хоть и иначе, чем Кромер, но и он-то тоже был совратителем, он тоже связывал меня с другим, злым, сквер-

ным миром, о котором я отныне ничего больше не хотел знать. Я не хотел и не мог тогда помогать поступаться Авелем и прославлять Каина, потому что сам-то я снова стал Авелем.

Так обстояло все внешне. А внутренне вот как: я вырвался из рук Кромера и дьявола, но не собственными силами. Я попытался пойти тропами мира, но они оказались для меня слишком скользкими. И вот, когда дружеская рука поддержала меня и спасла, я, не глядя больше никуда в сторону, бросился назад, к материнскому лону, в укромность ухоженной, благочестивой детскости. Я сделал себя моложе, зависимее, в большей мере ребенком, чем был в действительности. Зависимость от Кромера я должен был заменить какой-то новой зависимостью, ибо ходить самостоятельно я еще не был способен. И вот слепым своим сердцем я выбрал зависимость от отца и матери, от старого, любимого, «светлого мира», о котором я, однако, знал уже, что он не единственный. Если бы я так не поступил, я должен был взять сторону Демиана и довериться ему. То, что я этого не сделал, показалось мне тогда оправданным недоверием к его странным мыслям; на самом деле это было не что иное, как страх. Ведь Демиан потребовал бы от меня большего, чем требовали родители, куда большего, подталкиваниями и призывами, насмешками и иронией он попытался бы сделать меня более самостоятельным. О, сегодня я знаю: ничто на свете не претит человеку больше, чем идти путем, который ведет его к нему самому!

Примерно через полгода, однако, я не устоял перед искушением и как-то на прогулке спросил отца, как он относится к тому, что некоторые люди ставят Каина выше, чем Авеля.

Отец очень удивился и сказал мне, что этот взгляд новизной не отличается. Он возник уже на заре христианства и проповедовался в сектах, одна из которых даже называла себя «каиниты». Но, конечно, это нелепое учение есть не что иное, как попытка дьявола погубить нашу веру. Ведь если поверить в правоту Каина и неправоту Авеля, то нужно сделать вывод, что Бог ошибся, что, следовательно, Бог Библии не истинный и не единственный, а какой-то лже-бог. Что-то подобное каиниты и вправду утверждали и проповедовали. Однако эта ересь давно сгинула в человечестве, и он только удивляется, что кто-то из моих школьных товарищей мог что-то об этом узнать. Во всяком случае, он, отец, серьезно призывает меня отбросить эти мысли.

Глава третья Разбойник

Можно было бы рассказать много прекрасного, нежного и милого о моем детстве, о моей защищенности у отца и матери, о любви к родителям и легком житье-бытье в уютном, славном, светлом окружении. Но меня интересуют только те шаги, которые я сделал в своей жизни для того, чтобы пробиться к себе самому. Все эти прелестные пристанища, островки счастья и райские уголки я оставляю в сияющей дали и не хочу возвращаться туда еще раз.

А потому, повествуя о своем отрочестве, я буду говорить только о том, что случилось у меня нового, что гнало меня вперед, что вырвало меня из привычного круга.

Всегда сыпались эти удары из «другого мира», всегда они приносили с собой страх, гнет и нечистую совесть, всегда они были революционными и угрожали покою, в котором я охотно пребывал бы и дальше.

Прошли годы, когда мне суждено было снова открыть, что во мне самом находится некий двигатель, который в дозволенном, светлом мире должен скрываться и прятаться. Как на всякого человека, так и на меня медленно пробуждающееся чувство пола находило как враг и губитель, как нечто запретное, как соблазн и грех. То, чего искало мое любопытство, что творило мне мечты, наслаждение и страх, великая тайна возмужания, – это никак не вязалось с укромным блаженством моего детского покоя. Я поступал как все. Я вел двойную жизнь ребенка, который все-таки уже не ребенок. Мое сознание жило в родном и дозволенном, мое сознание отвергало этот забрезживший новый мир. Но одновременно я жил в мечтах, порывах, желаниях адского свойства, через которые та сознательная жизнь сооружала себе все более ненадежные мосты, ибо мир детства во мне рушился. Как почти все родители, так и мои не помогали тем пробудившимся инстинктам, о которых не говорили. Помогали они только, с беспредельной заботливостью, моим безнадежным попыткам отвергнуть реальность и по-прежнему жить в мире детства, который становился все не-

реальнее и лживее. Не знаю, многое ли тут способны сделать родители, и своих родителей насколько не упрекаю. Это было мое дело – справиться с собой и найти свой путь, и делал я свое дело плохо, как большинство людей благовоспитанных.

Каждый проходит через эту трудность. Для среднего человека это та точка жизни, где веление собственной жизни вступает в наиболее жестокий спор с окружающим миром, где путь вперед отбивается в жесточайшей борьбе. Многие испытывают то умирание и рождение заново, какое представляет собой наша судьба, только в этот единственный раз за всю жизнь – при обветшании и медленном разрушении детства, когда все, что мы полюбили, нас покидает и мы вдруг чувствуем одиночество и смертельный холод мирового пространства. И многие навсегда повисают на этой скале и всю жизнь мучительно цепляются за невозвратимое прошлое, за мечту о потерянном рае, самую скверную, самую убийственную на свете мечту.

Вернемся к нашей истории. Ощущения и образы, в которых мне предстал конец детства, не настолько важны, чтобы о них рассказывать. Важно было то, что «темный мир», «другой мир» снова заявил о себе. Что было некогда Францем Кромером, то находилось теперь во мне самом. А потому и с внешней стороны «другой мир» снова обрел власть надо мной.

Со времен истории с Кромером прошло много лет. Та драматическая и полная виновности полоса моей жизни была тогда очень далека от меня и казалась коротким, пустым кошмаром. Франц Кромер давно исчез из моей жизни; если он и встречался мне, я почти не замечал этого. Но другая важная фигура моей трагедии, Макс Демиан, полностью уже не исчезала из моего окружения. Однако долгое время он находился далеко на периферии в поле зрения, но не действенно. Лишь постепенно он приблизился снова, снова излучая силу, снова властно.

Я стараюсь припомнить все, что знаю о Демиане той поры. Возможно, что я год или дольше ни разу не говорил с ним. Я избегал его, а он отнюдь не навязывал своего общества. Разве что как-то кивнул мне при встрече. Мне тогда казалось порой, что в его приветливости есть нотка презрения или иронического упрека, но, может быть, мне это почудилось. История, которую я с ним пережил, и странное влияние, которое он тогда оказал на меня, были как бы забыты и им, и мною.

Я стараюсь восстановить его образ и, припоминая, вижу, что он все-таки присутствовал и что я замечал его. Вижу, как он идет в школу, один или среди других старшеклассников, вижу, как он отчужденно, одиноко и тихо, словно небесное тело, движется среди них, окруженный собственным воздухом, живущий по каким-то своим законам. Никто не любил его, никто не был с ним близок, одна только его мать, но и с ней он, казалось, обходился не как ребенок, а как взрослый. Учителя по возможности оставляли его в покое, он был хороший ученик, но он ни к кому не подлизывался, и время от времени до нас доходили слухи о каком-нибудь словце, или замечании, или возражении, брошенном им тому или иному учителю с явным вызовом или иронией.

Я сосредоточиваюсь, закрыв глаза, и передо мной вырисовывается его внешность. Где это было? Ну вот, всплыло. Это было на улице перед нашим домом. Однажды я увидел, как он стоял там с записной книжкой в руке и рисовал. Он срисовывал гербовую фигуру с птицей над нашей входной дверью. А я стоял у окна, спрятавшись за занавеской, и смотрел на него, и с изумлением видел его внимательное, холодное, светлое лицо, повернутое к гербу, лицо мужчины, исследователя или художника, высокомерное и волевое, удивительно светлое и холодное, со знающими глазами.

И опять я вижу его. Это было намного позднее, на улице; мы все столпились, возвращаясь из школы, вокруг упавшей лошади. Она лежала, еще запряженная в дышло, перед крестьянской повозкой, жалобно сопела открытыми ноздрями, чего-то ища, и истекала кровью из невидимой раны, отчего рядом с ней медленно наливалась темным белая пыль улицы. Отвернувшись с чувством тошноты от этого зрелища, я увидел лицо Демиана. Он не протискивался вперед, он стоял позади всех, в удобной и довольно изящной позе, как то было ему свойственно. Его взгляд был направлен на голову лошади, и опять в нем была эта глубокая, тихая, почти фантастическая и все же бесстрастная внимательность. Я долго смотрел на него, и тогда я, совсем еще безотчетно, почувствовал нечто очень странное. Я видел лицо Демиана, не только видел, что это лицо не мальчика, но видел, что это лицо мужчины; я видел еще больше, я, казалось мне, видел или чувствовал, что это и не лицо мужчины, а еще что-то другое. Было в нем что-то женское, а главное, на миг это лицо

показалось мне не мужским или детским, не старым или молодым, а каким-то тысячелетним, каким-то вневременным, отчеканенным иными временами, чем наши. Так могли выглядеть животные, или деревья, или звезды – я этого не знал, я ощущал не совсем то, что говорю об этом сейчас, будучи взрослым, но что-то подобное. Возможно, он был красив, возможно, нравился мне, а может быть, и был мне противен, это тоже решить нельзя было. Я видел только: он был иным, чем мы, он был как животное, или как дух, или как изображение, не знаю, каков он был, но был иным, немислимо другим, чем мы все.

Больше ничего это воспоминание не говорит мне, да и сказанное почерпнуто, может быть, отчасти уже из позднейших впечатлений.

Лишь став на много лет старше, я наконец снова соприкоснулся с ним теснее. Демиан не был, как полагалось бы, подтвержден в церкви вместе с мальчиками своего года рождения, и это тоже сразу дало повод для всяких слухов. Опять в школе говорили, что он, собственно, еврей, или нет, язычник, а иные утверждали, что они с матерью не исповедуют вообще никакой веры или состоят в какой-то особенной, нехорошей секте. В связи с этим, наверное, до меня дошло подозрение, что он живет со своей матерью как с любовницей. Вероятно, дело обстояло так, что дотоле он воспитывался без всякого вероисповедания, а теперь это заставило опасаться каких-то невыгод для него в будущем. Во всяком случае, теперь, на два года позднее, чем его ровесников, мать все-таки решила подтвердить его. Вот и получилось, что он несколько месяцев был моим товарищем по занятиям для подтверждающихся.

Какое-то время я держался от него подальше, мне не хотелось иметь с ним дело, слишком уж много для меня было вокруг него слухов и тайн, но особенно мешало мне чувство, что я в долгу перед ним, оставшееся у меня после истории с Кромером. И как раз тогда мне хватало забот со своими собственными тайнами. У меня занятия для подтверждающихся совпали с периодом решающего просвещения в половых делах, и, несмотря на добрую волю, мой интерес к духовным наставлениям был сильно ослаблен. Вещи, о которых говорил священник, пребывали где-то далеко от меня, в тихой, святой нереальности, они были, возможно, куда как прекрасны и ценны, но они не задевали за живое, не волновали, а те, другие вещи, обладали как раз той способностью в величайшей мере.

И чем больше делало меня равнодушным мое состояние к религиозным занятием, тем больше приближали меня опять к Максиму мои интересы. Казалось, нас что-то связывало. Я должен как можно точнее проследить эту нить. Насколько мне помнится, все началось на одном уроке, рано утром, когда в классе еще горел свет. Наш духовный наставник заговорил об истории Каина и Авеля. Я был невнимателен, сонлив и почти не слушал. Священник стал, повысив голос, твердить о каиновой печати. В этот миг я почувствовал что-то вроде прикосновения или призыва и, подняв глаза, увидел в передних рядах скамеек повернутое ко мне лицо Демиана – со светлым, выразительным взглядом, в котором не было ни насмешливости, ни серьезности. Лишь на мгновение взглянул он на меня, и вдруг я стал с любопытством прислушиваться к словам священника, слушать его речь о Каине и каиновой печати, и почувствовал глубоко в себе знание, что все обстоит не так, как он уверяет, что на все можно посмотреть и иначе, что тут возможна и критика!

С этой минуты между Демианом и мною установилась какая-то связь. И поразительно: едва только чувство некоей общности появилось в душе, как оно, я увидел, словно бы магически перешло и в пространство. Я не знал, сам ли он так устроил, или то была чистая случайность – я тогда еще твердо верил в случайности, – но через несколько дней Демиан вдруг сменил свое место на уроках Закона Божьего и сидел прямо передо мной (до сих пор помню, как жадно вдыхал я, окутанный убогим приютским воздухом переполненного по утрам класса, нежно-свежее веяние мыла от его шеи!), а еще через несколько дней он снова переменил место и сидел уже рядом со мной и просидел так всю зиму и всю весну.

Утренние часы совершенно преобразились. Они уже не были сонными и скучными. Я ждал их с радостью. Иногда мы оба слушали священника с величайшим вниманием, достаточно было одного взгляда моего товарища, чтобы указать мне на какую-нибудь занятную историю, на какое-нибудь странное изречение. И другого его взгляда, вполне определенного, достаточно было, чтобы встряхнуть меня, вызвать во мне критику и сомнения.

Но очень часто мы были плохими учениками и совершенно не слушали урока. Демиан всегда вел себя вежливо с учителями и однокашниками, я никогда не видел, чтобы он по-мальчишески баловался, никогда не было слышно, чтобы он громко смеялся или болтал, никогда не получал он от учителей замечаний. Но он умел совершенно бесшумно, больше знаками, чем взглядами, чем шепотом, вовлекать меня в собственные занятия. А они были отчасти странного рода.

Он говорил мне, например, кто из учеников его интересует и каким образом он изучает их. Многих он знал очень хорошо. Он говорил мне перед лекцией: «Когда я сделаю тебе знак большим пальцем, тот-то и тот-то обернется к нам или почешет затылок» и так далее. Затем, во время урока, когда я часто уже забывал об этом, Макс вдруг заметным движением поворачивал ко мне большой палец, я быстро бросал взгляд на указанного ученика и каждый раз видел, что тот, словно его потянули за проволочку, совершал задуманное движение. Я приставал к Максиму, чтобы он как-нибудь проделал это и с учителем, но он отказывался. Но когда я однажды, придя на занятие, сказал ему, что не выучил сегодня урока и очень надеюсь, что священник сегодня не спросит меня, он мне помог. Священник искал, кого бы из учеников вызвать для ответа по катехизису, и его блуждающий взгляд остановился на моем виноватом лице. Он медленно подошел, протянул в мою сторону палец, готов уже был произнести мою фамилию – и вдруг не то отвлекся, не то забеспокоился, поправил свой воротник, подошел к Демиану, который твердо смотрел ему в лицо, собрался было что-то спросить у него, но неожиданно опять отвернулся, кашлянул и вызвал другого ученика.

Очень забавляясь этими шутками, я лишь постепенно заметил, что мой друг часто ведет эту игру и со мной. Случалось, что по дороге в школу у меня вдруг возникало чувство, что Демиан идет сейчас сзади, и когда я оглядывался, он действительно там оказывался.

– Ты в самом деле можешь заставить другого думать то, что ты хочешь? – спросил я его.

Он отвечал с полной готовностью, спокойно и разумно, как взрослый.

– Нет, – сказал он, – это невозможно. Ведь свободной воли не существует, хотя священник делает вид, что она есть. Ни другой не может думать что хочет, ни я не могу заставить его думать что хочу. Но хорошенько понаблюдав за кем-нибудь, можно довольно точно сказать, что он думает или чувствует, а потому обычно можно и предвидеть, что он сделает в следующее мгновение. Это очень просто, люди только не знают этого. Конечно, нужно упражнение. Есть, например, среди бабочек определенные ночные мотыльки, у которых особи женского пола встречаются гораздо реже, чем мужского. Мотыльки эти размножаются совершенно так же, как все животные, самец оплодотворяет самку, которая потом кладет яйца. Если у тебя есть самка этих мотыльков – исследователи часто делали такой опыт, – то ночью к этой самке прилетят мотыльки мужского пола, причем с расстояния в несколько часов полета. В несколько часов, представь себе! За много километров чувствуют все эти самцы единственную в этой местности самку! Это пытаются объяснить, но объяснить это трудно. Наверно, существует какое-то обоняние или что-то подобное, вроде того как хорошие охотничьи собаки могут найти незаметный след и идти по нему. Понимаешь? Таких вещей в природе полно, и никто не может их объяснить. Но вот что я скажу: если бы у этих бабочек самки встречались так же часто, как самцы, у них не было бы такого точного нюха. У них он есть только потому, что они так натаскали себя. Если животное или человек направит все свое внимание и всю свою волю на определенную цель, то он ее и достигнет. Вот и все. И точно так же обстоит дело с тем, что ты имеешь в виду. Присмотрись к человеку достаточно внимательно, и ты будешь о нем знать больше, чем он сам.

Меня так и подмывало произнести слова «чтение мыслей» и напомнить ему ту давнюю уже сценку с Кромером. Но это было тоже странное дело: никогда, ни разу ни он, ни я не позволяли себе ни малейшего намека на то, что много лет назад он однажды так серьезно вмешался в мою жизнь. Словно ничего прежде не было между нами или словно каждый из нас твердо рассчитывал на то, что другой это забыл. Изредка случалось даже, что мы вместе встречали, идя по улице, Франца Кромера, но мы не переглядывались, не упоминали ни одним словом о нем.

– Но как же это получается со свободой воли? – спросил я. – Ты говоришь, что свободной воли нет. Но ты же говоришь, что стоит лишь твердо направить свою волю на что-то, и цель будет

достигнута. Это же противоречие! Если я не хозяин своей воли, то я и не могу направить ее по желанию туда или сюда.

Он похлопал меня по плечу. Так он всегда делал, когда я его радовал.

– Хорошо, что ты спрашиваешь! – сказал он со смехом. – Всегда надо спрашивать, всегда надо сомневаться. Но все очень просто. Если бы такой мотылек, например, пожелал направить свою волю на какую-нибудь звезду или еще куда-нибудь, у него ничего не вышло бы. Только он и не пытается это сделать. Он ищет лишь то, что имеет для него смысл и ценность, что ему нужно, что требуется ему непременно. Тут-то и удается ему самое невероятное, он развивает волшебное шестое чувство, которого нет ни у одного животного, кроме него! У нас, разумеется, больше простора и больше интересов, чем у животного. Но и мы замкнуты относительно узким кругом и не можем выйти за его пределы. Я могу, конечно, придумать и то, и другое, вообразить, скажем, что мне непременно нужно попасть на Северный полюс или что-нибудь такое, но выполнить это и достаточно сильно пожелать этого я могу только в том случае, если такое желание заключено целиком во мне самом, если мое естество действительно целиком наполнено им. Когда это так, когда ты пробуешь сделать что-то, следуя своему внутреннему велению, тогда оно и получается, тогда ты можешь взнуздать свою волю как доброго коня. Если я, например, задался сейчас целью сделать так, чтобы наш батюшка перестал носить очки, то ничего не получится. Это просто баловство. Но когда я осенью почувствовал в себе твердую волю пересечь со своей передней парты сюда, все получилось великолепно. Тут вдруг возник некто, кто шел по алфавиту впереди меня и дотоле болел, и поскольку кто-то должен был уступить ему место, сделал это, конечно, я, потому что именно моя воля была готова сразу же воспользоваться таким случаем.

– Да, – сказал я, – мне это тоже показалось тогда странным. С того момента, как мы заинтересовались друг другом, ты придвигался ко мне все ближе. Но как это было? Сначала ведь ты не сразу сел рядом со мной, ты же сперва посидел несколько раз на этой вот парте впереди меня, правда? Как это вышло?

– Это было так: я и сам толком не знал, куда стремлюсь, когда пожелал уйти с моего первого места. Я знал только, что хочу сидеть подальше сзади. То была моя воля пересечь к тебе, но я еще не осознавал. Одновременно твоя воля тоже тянула меня и помогала мне. Лишь когда я сел перед тобой, до меня дошло, что мое желание исполнилось лишь наполовину. Я понял, что, в сущности, не желал ничего другого, как сидеть рядом с тобой.

– Но тогда никаких новеньких не появлялось.

– Нет, но тогда я просто сделал то, чего хотел, и недолго думая сел возле тебя. Мальчик, с которым я поменялся местами, только удивился, но возражать не стал. Священник, правда, как-то заметил, что произошло какое-то изменение... вообще каждый раз, когда он имеет со мной дело, его втайне что-то мучит: он знает, что моя фамилия Демриан и что если я на «Д», то мне не надо бы сидеть так далеко сзади, с теми, кто на «С»! Но это не доходит до его сознания, потому что моя воля против этого и потому, что я каждый раз мешаю ему собраться с мыслями. Он каждый раз замечает, что тут что-то не так, и глядит на меня и начинает задумываться, бедняга. А у меня средство простое. Я каждый раз смотрю ему прямо, очень прямо в глаза. Этого почти никто не переносит. Они все начинают беспокоиться. Если ты хочешь от кого-нибудь чего-то добиться и неожиданно посмотришь ему очень прямо в глаза, а он не забеспокоится, оставь надежду! Но это бывает очень редко. Я знаю, собственно, только одного человека, с которым это не помогает мне.

– Кто же это? – спросил я быстро.

Он посмотрел на меня чуть суженными глазами, как то случалось, когда он задумывался. Затем отвел взгляд и ничего не ответил, а я, несмотря на острое любопытство, не смог повторить свой вопрос.

Но думаю, что говорил он тогда о своей матери... С ней он, казалось, жил в большой близости, но мне о ней никогда не говорил и домой к себе меня никогда не звал. Едва ли я даже знал, какова его мать с виду.

Иногда я пытался подражать ему и сосредоточивать свою волю на чем-нибудь так, чтобы добиться задуманного. Были желания, казавшиеся мне достаточно настоятельными. Но все

напрасно, ничего не получалось. Говорить об этом с Демианом я не решался. Признаться ему, чего я желаю себе, я не мог. А он и не спрашивал.

Моя доверчивость в религиозных вопросах понесла тем временем некоторый ущерб. Однако по своему мышлению, находившемуся под влиянием Демиана, я очень отличался от тех моих одноклассников, которые обнаруживали полное неверие. Было несколько таких, и от них случалось слышать, что смешно и недостойно человека верить в какого-то бога, что такие истории, как о триединстве и о непорочном рождении Иисуса, просто-напросто смехотворны и что это позор – еще сегодня распространять подобную дребедень. Так я отнюдь не думал. При всяческих своих сомнениях я по всему опыту своего детства все-таки достаточно много знал о подлинности религиозной жизни, которую вели, например, мои родители и не находил в ней ничего недостойного и лицемерного. Нет, я по-прежнему испытывал к религии глубочайшее уважение. Только Демиан приучил меня смотреть на эти предания, на эти догматы веры иначе, толковать их свободнее, более лично, игривее, с большей фантазией; во всяком случае, толкования, которые он предлагал мне, я всегда выслушивал охотно и с наслаждением. Много, правда, казалось мне слишком резким, так было и с рассказом о Каине. А однажды во время занятий для подтверждающихся он испугал меня суждением, пожалуй, еще более смелым. Учитель говорил о Голгофе. Библейский рассказ о страданиях и смерти Спасителя с давних времен оставил у меня глубокое впечатление, в раннем детстве я иногда, особенно в страстную пятницу, после того как отец прочитывал эту историю вслух, искренне, всей душой жил в этом скорбно-прекрасном, бледном, призрачном и все-таки невероятно живом мире, в Гефсиманском саду и на Голгофе, и когда я слушал баховские «Страсти по Матфею», мрачно-могучее сияние боли, исходившее от этого таинственного мира, наполняло меня мистическим благоговением. Я и сегодня еще нахожу в этой музыке и в «Actus tragicus» идеал всякой поэзии, всякого художественного выражения.

Так вот, в конце урока Демиан задумчиво сказал мне:

– Тут что-то есть, Синклер, что мне не нравится. Перечти эту историю и проверь ее на вкус, есть тут какая-то пошлость. Особенно эпизод с двумя разбойниками. Великолепная картина – три креста стоят на холме рядом! Но вот идет эта сентиментальная назидательная история с порядочным разбойником! Сначала он был преступник и творил гнусные дела, бог знает что, и вдруг – он оттаивает и празднует этакий слезливый праздник исправления и раскаяния! Какой смысл имеет такое раскаяние в двух шагах от могилы, скажи на милость? Это снова не что другое, как обычная поповская история, слащавая и нечестная; трогательно-сентиментальная и с нравоучительной подоплекой. Если бы тебе сегодня надо было выбирать в друзья одного из двух этих разбойников или решать, кому из них ты скорее оказал бы доверие, ты ведь, конечно, не выбрал бы этого плаксивого покаянника. Нет, ты выбрал бы другого, это молодец, у него есть характер. Ему наплевать на покаяние, которое в его положении может быть только красивой болтовней, он идет своим путем до конца и не отрекается в последнее мгновение от дьявола, который до сих пор ему помогал. У него есть характер, а люди с характером в библейской истории часто оказываются в убытке. Может быть, он тоже отпрыск Каина. Ты не думаешь?

Я был ошеломлен. Уж в этом-то, в истории распятия, я считал себя сведущим и только теперь увидел, как мало личного, как мало воображения, фантазии проявлял я, когда слушал ее и читал. Однако новая мысль Демиана была мне неприятна, она грозила перевернуть представления, которые я считал для себя незыблемыми. Нет, нельзя было так обходиться со всем и всеми, даже с самым святым.

Он заметил мое сопротивление, как всегда, сразу же, прежде чем я успел что-либо сказать.

– Знаю, – сказал он примирительно, – история эта старая. Только не надо серьезничать! Но вот что я тебе скажу: здесь одна из тех точек, где очень ясно виден недостаток этой религии. Речь идет вот о чем: весь этот Бог, и Ветхого, и Нового Завета, фигура хоть и замечательная, но не то, что он должен ведь в сущности представлять. Он – это все доброе, благородное, отеческое, прекрасное, также высокое, сентиментальное, очень хорошо! Но мир состоит и из другого. А это все просто отводится дьяволу, и вся эта часть мира, вся эта половина утаивается и замалчивается. Точно так же славят Бога как отца всякой жизни, а всю половую жизнь, на которой-то жизнь и держится, просто замалчивают, а то даже объявляют дьявольщиной и грехом! Я ничего не имею

против того, чтобы чтили этого Бога Иегову, решительно ничего. Но я думаю, мы должны чтить и почитать священным все, весь мир, а не только эту искусственно отделенную, официальную половину! Значит, наряду с богослужением нам нужно и служение дьяволу. Это, по-моему, было бы правильно. Или же следовало бы создать бога, который включал бы в себя и дьявола, бога, перед которым не нужно закрывать глаза, когда происходят самые естественные вещи на свете.

Он, вопреки своему обыкновению, даже разгорячился, однако тут же улыбнулся и перестал доносить меня.

А во мне эти слова задели загадку всего моего отрочества, которую я ежечасно носил в себе, никогда никому не говоря ни слова о ней. То, что сказал тогда Демриан о Боге и дьяволе, о божественно-официальном и о замалчиваемом дьявольском мире, – это же была в точности моя собственная мысль, мой собственный миф, мысль о двух мирах или о двух половинах мира – светлой и темной. Сознание, что моя проблема – это проблема всех людей, проблема всей жизни и всякого мышления, осенило меня как священная тень, и меня охватили страх и благоговение, когда я увидел и вдруг почувствовал, как глубоко причастны моя сокровеннейшая жизнь, мои самые личные мысли к вечному потоку великих идей. Сознание это не было радостно, хотя что-то подтверждало и было чем-то приятно. Оно было сурово и грубовато, потому что в нем слышались ответственность, конец детства, начало самостоятельности.

Впервые в жизни раскрывая такую глубокую тайну, я рассказал своему товарищу о не отпускаявшей меня с детства мысли о «двух мирах», и он сразу понял, что, стало быть, в глубине души я согласен с ним и признаю его правоту. Но не таков он был, чтобы этим воспользоваться. Он выслушал меня с самым глубоким вниманием, какое когда-либо мне дарил и посмотрел мне в глаза так, что я должен был отвести их. Ибо в его взгляде я снова увидел эту странную, животную вневременность, этот невообразимый возраст.

– Мы поговорим об этом в другой раз, – сказал он шадяще. – Я вижу, ты думаешь больше, чем можешь передать. Но в таком случае, тебе должно быть известно и то, что ты полностью никогда не жил своими мыслями, а это нехорошо. Ценность имеют только те мысли, которыми мы живем. Ты знал, что твой «дозволенный мир» – это лишь половина мира, и попытался спрятать от себя вторую половину, как то делают священники и учителя. Это тебе не удастся! Это не удастся никому, раз уж он начал думать.

Это глубоко задело меня.

– Но есть же, – почти вскричал я, – действительно, в самом деле запрещенные и безобразные вещи, этого же ты не можешь отрицать! И они запретны, и мы должны от них отказаться. Я ведь знаю, что существуют убийство и всевозможные пороки, но разве я должен, только потому что такое существует на свете, пойти и стать преступником?

– Сегодня мы с этим не управимся, – смягчился Макс. – Конечно, ты не должен убивать, не должен совершать садистских расправ над девушками. Но ты еще не там, где видно, что такое «дозволено» и что такое «запретно». Ты почувствовал лишь какую-то часть правды. Остальное еще последует, можешь быть уверен! Сейчас, например, ты с год уже чувствуешь в себе некое влечение, которое сильнее всех других, и оно считается запретным. Греки же и многие другие народы, напротив, возвели это влечение в божество и справляли в его честь пышные праздники. Запрет, значит, не есть нечто вечное, он может меняться. Да и сегодня ведь каждый волен спать с женщиной, как только он побывал с ней у священника и женился на ней. У других народов это иначе, и ныне тоже. Поэтому каждый из нас должен определить для себя самого, что дозволено и что запретно – запретно для него. Можно никогда не делать ничего запрещенного и быть при этом большим негодяем. И точно так же наоборот... В сущности, это только вопрос любви к покою! Кто слишком любит покой, чтобы самому думать и самому быть себе судьей, тот подчиняется без разбора любым запретам. Другие сами чувствуют какие-то приказы в себе, для них запретны вещи, которые каждый порядочный человек делает ежедневно, но зато позволительны другие вещи, которые вообще осуждаются. Каждый должен отвечать за себя самого.

Он, кажется, вдруг пожалел, что сказал так много, и оборвал свою речь на полуслове. Уже тогда я в какой-то мере понимал чувством, что он при этом испытывал. Как ни приятно и словно бы невзначай излагал он приходившее ему в голову, он терпеть не мог разговор, как он однажды

выразился, «только для разговора». А во мне он, помимо подлинного интереса, почувствовал слишком много игры, слишком много радости от умной болтовни или что-то подобное, словом, отсутствие совершенной серьезности.

Стоило мне перечитать последние написанные мною слова – «совершенная серьезность», – как я вдруг вспомнил другую сцену, самую яркую из всех, что случались у меня с Демианом в те еще полудетские времена.

Приближалась конфирмация, и на последних уроках наших занятий речь шла о причащении. Священник придавал этому важное значение, он не жалел сил, какая-то торжественность и приподнятость явно ощущались в эти часы. Однако как раз на этих нескольких последних уроках мысли мои были прикованы к другому – к фигуре моего друга. С приближением к конфирмации, которую нам объясняли как торжественное вступление в церковное братство, я никак не мог отвязаться от мысли, что для меня ценность этих примерно полугодных религиозных занятий состояла не в том, чему мы здесь учились, а в близости и влиянии Демиана. Не в церковь готов я был теперь вступить, а во что-то совсем другое, в орден мысли и личности, который должен был каким-то образом существовать на земле и представителем или посланцем которого я ощущал своего друга.

Я пытался отеснить эту мысль, мне всерьез хотелось пройти через празднество конфирмации, несмотря ни на что, с определенным достоинством, а таковое с моей новой мыслью не очень вязалось. Однако сколько я ни бился, мысль эта не уходила и постепенно слилась у меня с мыслью о скором церковном празднестве, я был готов справиться его не так, как другие, оно должно было означать для меня прием в мир идей, который открылся мне в Демиане.

В те дни мне опять как-то случилось вступить с ним в дискуссию; это произошло как раз перед уроком священника. Мой друг был сдержан и явно не рад моим речам, не по годам, пожалуй, благоразумным, самонадеянным.

– Мы слишком много говорим, – сказал он с необычной серьезностью. – Умные разговоры ничего не стоят, равным счетом ничего. Уходить от самого себя грех. Надо уметь целиком забиваться в себя, как черепаха.

Сразу за тем мы вошли в класс. Урок начался, я старался внимательно слушать, и Демиан не мешал мне в этом. Через некоторое время я почувствовал с той стороны, где он сидел возле меня, что-то странное, какую-то пустоту или прохладу или что-то подобное, словно его место как-то вдруг опустело. Когда это чувство стало стеснять меня, я обернулся.

Я увидел, что мой друг сидит рядом, прямо и с хорошей осанкой, как обычно. Однако вид у него был совсем не такой, как обычно, и что-то от него исходило, что-то такое оевало его, чего я не знал. Я подумал, что он закрыл глаза, но увидел, что они открыты. Однако они не глядели, не видели, они застыли и были обращены внутрь или куда-то вдаль. Он сидел совершенно неподвижно, даже, казалось, не дышал, рот его был словно вырезан из дерева или камня. Лицо его было бледно, равномерно тускло, как камень, и живет всего в нем были каштановые волосы. Руки его лежали перед ним на парте безжизненно и тихо, как неодушевленные предметы, как камни или плоды, бледные и неподвижные, но не вялые, а как твердые, прочные оболочки какой-то скрытой сильной жизни.

От этого зрелища я содрогнулся. Он мертв! – подумал я и чуть не сказал вслух. Но я знал, что он не мертв. Я не мог оторвать взгляда от его лица, от этой бледной, каменной маски, и я чувствовал: это и есть Демиан! Тот каким он бывал обычно, когда ходил со мной и говорил, это был только наполовину Демиан, это был кто-то, кто временно играл некую роль, приспособившись, из любезности подыгрывал. А у истинного Демиана вид был вот какой, такой, как у этого, такой же каменный, древний, животноподобный, камнеподобный, прекрасный и холодный, мертвый и втайне полный невероятной жизни. А вокруг него эта тихая пустота, этот эфир, это звездное пространство, эта одинокая смерть!

Сейчас он совсем ушел в себя, чувствовал я трепеща. Никогда я не был так одинок. Я не был причастен к нему, он был недостижим для меня, он был дальше от меня, чем если бы находился на самом далеком на свете острове.

Я не понимал, как это никто, кроме меня, не видит этого! Все должны были смотреть сюда, все должны были широко открыть глаза. Но никто не обращал на него внимания. Он сидел неподвижно, словно статуя, словно, подумалось мне, истукан, ему на лоб села муха, медленно поползла по носу и губам – он и не вздрогнул.

Где, где был он сейчас? О чем думал, что чувствовал? Был он где-то в небе, где-то в аду?

Мне нельзя было спросить его об этом. Когда я в конце урока увидел, что он снова жив и дышит, когда его взгляд встретился с моим, он, Демиан, был таким же, как прежде. Откуда он возвратился? Где был? Он казался усталым. В лице его опять появился румянец, руки его снова зашевелились, но каштановые его волосы сейчас не блестели и как бы увяли.

В последующие дни я не раз проделывал у себя в спальне некое новое упражнение: я садился очень прямо на стул, приказывал своим глазам застыть, пребывал в полной неподвижности и ждал, долго ли я это выдержу и что при этом почувствую. Но я только уставал, и у меня начинался страшный зуд в веках.

Вскоре после этого прошла конфирмация, от которой никаких важных воспоминаний у меня не осталось.

Все стало теперь другим. Детство вокруг меня разваливалось. Родители смотрели на меня с каким-то смущением. Сестры стали мне совсем чужими. Отрезвление обесценило и обесцветило для меня привычные чувства и радости, сад не благоухал, лес не манил, мир вокруг меня походил на распродажу старых вещей, он был пресен и неинтересен, книги были бумагой, музыка была шумом. Так с осеннего дерева спадает листва, оно этого не чувствует, по нему течет дождь, или солнце, или мороз, а в нем жизнь медленно уплотняется, уходит вглубь. Оно не умирает. Оно ждет.

Было решено, что после каникул я перейду в другую школу, впервые вдали от дома. Порой мать приближалась ко мне с особой нежностью, заранее прощаясь, стараясь заронить в мое сердце любовь, тоску по дому и память. Демиан уехал. Я был один.

Глава четвертая Беатриче

Так и не увидевшись со своим другом, я в конце каникул уехал в Шт. Мои родители, вдвоем, отправились вместе со мной и со всяческой заботливостью препоручили меня опеке пансиона для мальчиков у одного гимназического учителя. Они бы остолбенели от ужаса, если бы знали, в какие обстоятельства втолкнули меня.

Все еще стоял вопрос, выйдет ли из меня со временем хороший сын и полезный гражданин, или моя природа устремится к другим путям. Последняя моя попытка быть счастливым под сенью отчего дома и духа длилась долго, временами почти удавалась, и все-таки в конце концов полностью провалилась.

Странная пустота и одинокость, которую я впервые почувствовал во время каникул после своей конфирмации (как я еще познакомился с ними позднее, с этой пустотой, с этим разреженным воздухом!), проходили не так быстро. Прощание с родиной далось мне удивительно легко, я даже стыдился, что мало грущу, сестры плакали без причины, я так не умел. Я удивлялся самому себе. Всегда я был ребенком сердечным и по сути довольно добрым. Теперь я совершенно изменился. Я проявлял полное равнодушие к внешнему миру и целыми днями был занят тем, что вслушивался в себя и прислушивался к потокам, к запретным и темным потокам, которые подспудно шумели во мне. Я стремительно вырос за последние полгода и взирал на мир долговязым, худым и нескладным подростком. Ничего ребячески милого во мне не осталось, я сам чувствовал, что таким любить меня невозможно, и сам тоже отнюдь не любил себя. О Максе Демиане я часто сильно тосковал; но нередко я и ненавидел его, виня его за оскудение моей жизни, которую воспринимал как свалившуюся на меня гнусную болезнь.

В нашем ученическом пансионате меня поначалу не любили и не уважали, сперва надо мной подтрунивали, а потом стали меня избегать, видя во мне нелюдима, неприятного чудака. Я нравился себе в этой роли, я даже пересаливал в ней, ожесточаясь в своем одиночестве, которое

внешне неизменно походило на мужественное презрение к миру, хотя втайне я часто страдал от изнурительных приступов уныния и отчаяния. В школе я должен был пробавляться знаниями, накопленными еще дома, этот класс несколько отставал от моего прежнего, и я привыкал смотреть на своих ровесников свысока, как на детей.

Так все шло год и дольше, первые поездки домой на каникулы тоже не приносили ничего нового; я с радостью уезжал обратно.

Это было в начале ноября. Я завел привычку совершать при любой погоде мыслительные прогулки, во время которых часто испытывал род блаженства: блаженство, полное грусти, презрения к миру и презрения к себе. Так бродил я однажды вечером во влажном, туманном сумраке по окрестностям города, широкая аллея публичного парка была совершенно пустынна и приглашала меня, дорога была засыпана опавшими листьями, которые я ворошил ногами с каким-то мрачным сладострастием, пахло влажным и горьким, дальние деревья выступали из тумана громадными, мутными тенями.

В конце аллеи я нерешительно остановился, глядя на черную листву и жадно дыша влажным запахом обветшания и умирания, на который что-то во мне приветственно отзывалось. О, как хороша была на вкус жизнь!

По боковой дорожке приближался кто-то в развевающейся крылатке, я хотел пойти дальше, но он окликнул меня.

– Эй, Синклер!

Он подошел, это был Альфонс Бек, староста нашего пансиона. Я всегда рад был его видеть и ничего против него не имел, кроме того, что он держался со мной, как со всеми младшими, иронически-покровительственно. Он слыл силачом, о нем ходило много слухов среди гимназистов, говорили, что хозяин нашего пансиона его побаивается.

– Что ты здесь делаешь? – воскликнул он приветливо, таким тоном, какой бывает у старших, когда они порой снисходят до кого-то из нас. – Ну, держу пари, ты сочиняешь стихи?

– И думать не думал, – резко ответил я.

Он засмеялся, пошел рядом со мной и стал болтать, от чего я давно уже отвык.

– Не бойся, Синклер, что я этого не пойму. Тут что-то такое есть, когда вот так вечером бродишь в тумане, с осенними мыслями, хочется и впрямь сочинять стихи, я знаю. Об умирающей природе, конечно, и об ушедшей юности, которая сходна с ней. Смотри Генриха Гейне.

– Я не так сентиментален, – сказал я, обороняясь.

– Да ладно! Но в такую погоду, по-моему, человеку невредно поискать тихого местечка, где можно получить стакан вина или что-нибудь подобное. Пойдем? Я сейчас как раз совсем один... Или тебе неохота? Мне не хотелось бы совращать тебя, если тебе надо быть примерным мальчиком.

Вскоре мы сидели в каком-то захудалом кабачке, пили сомнительное вино и чокались толстыми стаканами. Сначала мне это мало нравилось, но все же это было что-то новое. Вскоре, однако, я, с непривычки к вину, стал очень разговорчив. Во мне словно бы распахнулось какое-то окно, и мир словно бы озарил меня своим светом – как давно, как ужасно давно не изливал я душу! Я ударился в фантастические рассуждения и в ходе их щегольнул историей о Каине и Авеле!

Бек слушал меня с удовольствием – наконец кто-то, кому я что-то мог дать!.. Он хлопал меня по плечу, называл молодцом, и мое сердце наполнялось блаженством от того, что я выплеснул наболевшее, дал выход потребности высказаться, снискал признание, что-то значил для старшего. Когда он назвал меня гениальным нахалом, эти слова пролились мне в душу как сладкое, крепкое вино. Мир загорелся новыми красками, мысли нахлынули на меня из сотни дерзких источников, ум и огонь так и запылали во мне. Мы говорили об учителях и товарищах, и мне казалось, что мы великолепно понимаем друг друга. Мы говорили о греках и язычестве, и Бек всячески подбивал меня на признания насчет любовных приключений. Такой разговор я не мог поддержать. Ничего я еще не изведal, рассказывать было не о чем. А то, что я в себе чувствовал, конструировал, о чем фантазировал, это хоть и жгло меня, но этого и вино не расслабило, не сделало поддающимся передаче. О девушках Бек знал куда больше, и я пылал, слушая эти сказки. Узнал я тогда невероятные вещи, совершенно немыслимое становилось чистейшей правдой, оказывалось само собой ра-

зумеющимся. В свои восемнадцать, может быть, лет Альфонс Бек уже приобрел кое-какой опыт. Среди прочего он узнал, что девушки только и знают, что жеманятся и ждут галантностей, и это недурно, но нужно не это. Надеяться на успех можно скорее у женщин. Женщины гораздо умнее. Например, госпожа Ягельт, хозяйка лавки, где продаются тетради и карандаши, с ней можно договориться, и не перечить всего, что случилось у нее за прилавком.

Я сидел замороженный и оглушенный. Полюбить госпожу Ягельт я правда, вряд ли смог бы – но все-таки это было нечто неслыханное. Были, оказывается, по крайней мере для взрослых, источники, которые мне и не снились. Какая-то фальшь, правда, тут слышалась, все было мельче и обыденнее, чем, на мой взгляд, пристало любви, но все-таки это была действительность, это была жизнь, это было приключение, рядом со мной сидел кто-то, кто испытал это, кому это казалось само собой разумеющимся.

Наши разговоры немного опустились, что-то утратили. И я уже не был гениальным бесенком, а был теперь всего только мальчиком, который слушал мужчину. Но даже и так – по сравнению с тем, что много месяцев составляло мою жизнь, – это было восхитительно, это был рай. Кроме того, все это было, как я постепенно почувствовал, запретно, очень запретно, от сиденья в кабачке до того, о чем мы говорили. Я, во всяком случае, ощущал в этом вкус мысли, вкус революции.

Ту ночь я помню очень отчетливо. Когда мы оба среди мокрой, прохладной ночи шли домой мимо тускло горевших газовых фонарей, я впервые был пьян. Это не было славно, это было крайне мучительно, а все же и в этом что-то было, какое-то очарование, какая-то сладость, это был мятеж, это была оргия, жизнь, мысль. Бек храбро опекал меня, хотя и ругал на чем свет стоит за полное неумение пить, и доставил чуть ли не на себе домой, где ему удалось пролезть вместе со мной в переднюю через оказавшееся там открытым окно.

Но с отрезвлением, когда я проснулся от боли после очень короткого мертвого сна, меня охватила безумная тоска. Я сидел в постели, на мне еще была дневная рубашка, моя одежда и башмаки валялись на полу, от них пахло табаком и рвотой, и среди головной боли, тошноты и отчаянной жажды у меня в душе возникла картина, которой я давно не видел воочию. Я увидел родину и отчий дом, отца и мать, сестер и сад, я увидел свою тихую родную спальню, увидел школу и рыночную площадь, увидел Демиана и уроки священника, и все это было какое-то светлое, сияющее, чудесное, божественное и чистое, и все, все это – понимал я – еще вчера, еще несколько часов назад принадлежало мне, ждало меня, а сейчас, вот только сейчас, было загублено и поругано, перестало принадлежать мне, выбросило меня, взглянуло на меня с отвращением! Все милое и дорогое, что я вплоть до самых далеких золотых садов детства получил от родителей, каждый поцелуй матери, каждое Рождество, каждое чистое, светлое воскресное утро дома, каждый цветок в саду – все это было погублено, все это я растоптал! Если бы сейчас явились стражники, если бы они связали меня и повели как изверга рода человеческого и святотатца на эшафот, я с этим согласился бы, пошел бы с радостью, нашел бы это правильным и справедливым.

Вот, значит, каков я был внутренне! Я, который кичился и презирал мир! Я, который в душе был горд и размышлял вместе с Демианом! Вот какой я был, изверг, похабник, пьяный, грязный, мерзкий подлец, грубое животное, обуянное гадким влечением! Вот каков я был, я, пришедший из тех садов, где все сияло, все дышало чистотой, прелестью, нежностью, я, любивший музыку Баха и прекрасные стихи! С отвращением и возмущением я все еще слышал свой собственный смех, пьяный, несдержанный, гогочуще-пошлый смех. Это был я.

Но при всем при том испытывать эти муки было чуть ли не наслаждением. Так долго влачился я в слепоте и тупости, так долго молчало и прозябало в нищете мое сердце, что и эти самообвинения, этот ужас, все это омерзение были отрадны душе. Тут все-таки присутствовало чувство, пылал огонь, содрогалось сердце! Со смятением угадывал я среди горя что-то похожее на освобождение и весну.

Между тем внешне я прямо-таки катился вниз. Вскоре хмель уже не был в новинку. В нашей школе много бражничали и безобразничали, я был одним из самых молодых участников этих развлечений и вскоре превратился из малыша, которого терпят, в зачинщика и заправилу, в знаменитого и бесшабашного завсегдака кабаков. Я опять целиком принадлежал темному миру, дьяволу и

слыл в этом мире замечательным парнем.

А на сердце у меня кошки скребли. Я жил в саморазрушительном беспутстве и, считаясь у товарищей вожаком и сорвиголовой, ухарем и озорником, чувствовал глубоко в себе трепет робкой, полной страха души. Помню, как у меня навернулись слезы, когда однажды воскресным утром я, выйдя из кабака, увидел на улице играющих детей, светлых, веселых, свежепричесанных и по-воскресному принаряженных. И потешая, а то и пугая своих друзей неслыханно циничными замечаниями за залитыми пивом грязными столиками замызганных кабаков, я втайне благоговел перед всем, над чем глумился, и про себя плакал, как бы стоя на коленях перед своей душой, перед своим прошлым, перед матерью, перед отцом.

Если я никогда не был в единстве со своими спутниками, если оставался среди них одинок и потому мог так страдать, то на это имелась причина. Я был забулдыгой и зубоскалом во вкусе самых грубых своих собратьев, я выказывал остроумие и храбрость в своих мыслях и речах об учителях, школе, родителях, церкви, – я не смущался и от непристойностей и сам иной раз решался на них, – но я никогда не участвовал в походах моих собутыльников к девицам, я пребывал в одиночестве и жгучей тоске по любви, в безнадежной тоске, хотя своими речами производил впечатление прожженного бонвивана. Никто не был ранимее, никто не был стыдливей меня. И когда я поглядывал на проходящих мешаночек, красивых и опрятных, светлых и привлекательных, они представляли мне чудесными, чистыми видениями, слишком прекрасными и чистыми для меня. На какое-то время я перестал даже заходить в писчебумажную лавку госпожи Ягельт, потому что краснел, взглянув на нее, и думал о том, что рассказал мне о ней Альфонс Бек.

Чем больше и в новом своем обществе чувствовал я себя теперь одиноким и не таким, как другие, тем меньше освобождался я от него. Право, не помню уж, доставляли ли мне действительно удовольствие пьянство и бахвальство, да и пить я так и не привык настолько, чтобы не чувствовать каждый раз неприятных последствий. Все шло как бы по необходимости. Я поступал, как должен был поступать, потому что иначе не знал, что мне делать с собой. Я страшился долгого одиночества, боялся всяких приступов нежности, стыдливости, искренности, к которым всегда чувствовал склонность, боялся нежно-любовных мыслей, так часто у меня появлявшихся.

Одного недоставало мне больше всего – друга. Было два-три одноклассника, видеть которых мне было очень приятно. Но они принадлежали к числу порядочных учеников, а мои пороки давно уже не были ни для кого тайной. Они избегали меня. Я слыл у всех отпетым игроком, у которого почва уходит из-под ног. Учителя многое знали обо мне, меня не раз строго наказывали, все ждали, что меня в конце концов исключат из школы. Я и сам это знал, я давно не был хорошим учеником, а как-то изворачивался и жульничал с чувством, что долго это не может продлиться.

Есть много путей, на которых Бог способен сделать нас одинокими и привести к самим себе. Этим путем он пошел тогда со мной. Это было как дурной сон. Я вижу себе околдованным сновидцем, затравленно ползущим без отдыха по пакостно-мерзкой дороге, через грязь, через что-то липкое, через разбитые пивные стаканы, через растрачиваемые на циничную болтовню ночи. Есть такие сны, где на пути к принцессе застреваешь в грязных лужах, в закоулках, наполненных зловонием и нечистотами. Так было со мной. Таким неизысканным образом суждено было мне стать одиноким и воздвигнуть между собой и детством запретные врата Эдема с безжалостно сияющими стражами. Это было начало, пробуждение, тоска по самому себе.

Я еще испугался и даже задержался, когда в Шт. в первый раз появился и неожиданно предстал передо мной отец, встревоженный письмами хозяина моего пансиона. Когда он, в конце той зимы, явился вторично, я был уже тверд и равнодушен, снес его брань, просьбы, напоминания о матери. Под конец он очень рассердился и сказал, что, если я не изменюсь, он велит с позором выгнать меня из школы и отдаст в исправительное заведение. Ну и пусть бы! Когда он уезжал, мне было жаль его, но он ничего не достиг, он не нашел пути ко мне, и в какие-то мгновения я чувствовал, что так ему и надо.

Что из меня выйдет, было мне безразлично. Станным, не очень красивым способом, сидя в кабаках и бахвалясь, вел я спор с миром, такова была моя форма протеста. При этом я губил себя, и порой дело представлялось мне так: если миру не нужны такие люди, как я, если у него нет для них никакого лучшего места, никаких высших задач, – что же, значит, такие, как я, погибают.

Пусть мир пеняет на себя.

Рождественские каникулы были в тот год довольно безрадостны. Моя мать испугалась при встрече со мной. Я еще больше вырос, и мое худое лицо казалось серым, выглядело опустошенным, вялым, веки были воспалены. Пробивавшиеся усы и очки, которые я с недавних пор носил, сделали меня для нее еще более чужим. Сестры отпрянули и захихикали. Все было неутешительно. Неутешителен и горек разговор с отцом в его кабинете, неутешительны посещения родственников, неутешителен прежде всего сочельник. Это, с тех пор как я себя помнил, был в нашем доме большой день, вечер торжественности и благодарности, обновление союза между родителями и мной. На сей раз все только угнетало и смущало. Отец, как всегда, читал из Евангелия о «пастухах, которые содержали ночную стражу у стада своего», сестры, как всегда, стояли, сияя, перед столом с подарками, но голос отца звучал угрюмо, и лицо его казалось старым и осунувшимся, а мать была печальна, и мне было все одинаково неприятно и некстати – подарки и поздравления, Евангелие и елка. Сладко пахли пряники, источая густые облака еще более сладких воспоминаний. Благоухала елка, рассказывая о вещах, которых уже не существовало. Я просто дожидаться не мог конца вечера и праздников.

Так продолжалось всю зиму. Не так давно я получил настоятельное предупреждение педагогического совета с угрозой исключения. Осталось уже недолго. Ну и хорошо.

Особая злость была у меня на Макса Дамиана. Все это время я не видел его. Я написал ему в начале своего учения в Шт. дважды, но ответа не получил; поэтому я и на каникулах не навещал его.

В том самом парке, где я встретил осенью Альфонса Бека, в начале весны, когда только зазеленели колючие изгороди, мое внимание привлекла одна девушка. Я гулял в одиночестве, полный противных мыслей и забот, ибо здоровье мое ухудшилось, а кроме того, у меня были постоянные затруднения с деньгами, задолжав у товарищей, я придумывал всякие необходимые расходы, чтобы что-то получать из дому, а в нескольких лавках у меня накопились неоплаченные счета за сигары и подобные вещи. Не то чтобы эти заботы меня поглощали – когда мое пребывание здесь вскоре кончится и я либо утоплюсь, либо попаду в исправительное заведение, мелочи не будут иметь никакого значения. Но все-таки я постоянно соприкасался с такими неприятными делами и страдал от этого.

В тот весенний день в парке мне повстречалась молодая дама, которая очень меня привлекла. Высокого роста, стройная, элегантно одетая, с умным мальчишеским лицом. Она мне сразу понравилась, она принадлежала к любимому мною типу и взбудоражила мое воображение. Была она вряд ли намного старше, чем я, но намного увереннее, элегантнее и складнее, совсем уже почти дама, но с чем-то озорным и мальчишеским в лице, необычайно мне нравившимся.

Мне никогда не удавалось приблизиться к девушке, в которую я был влюблен, не удалось и сейчас. Но это впечатление было глубже всех прежних, и влияние этой влюбленности на мою жизнь было огромно.

Вдруг мне снова явился образ, высокий, высокочтимый образ – а ведь не было у меня стремления глубже и сильнее, чем желание благоговеть и поклоняться! Я дал ей имя Беатриче, ибо о ней, не читав Данте, знал из одной английской картины, репродукцию с которой хранил. Там это была английско-дорафаэлевская девическая фигура, очень длиннорукая, длинноногая, стройная, с узкой продолговатой головой, одухотворенными пальцами и лицом. Моя юная красавица не очень походила на нее, хотя тоже обладала этой стройностью, этими мальчишескими формами, любимыми мною, и какой-то одухотворенностью, открытостью в чертах лица.

Я не обмолвился с Беатриче ни одним словом. Тем не менее она оказала тогда на меня глубокое влияние. Она явила мне свой образ, открыла мне святилище, сделала меня богомольцем в храме. Как не бывало всех моих попок и ночных походов. Я вновь научился одиночеству, вновь полюбил читать, вновь полюбил прогулки.

Внезапное исправление принесло мне немало насмешек. Но я мог теперь что-то любить, чему-то поклоняться, у меня снова был идеал, жизнь снова наполнилась предчувствиями и пестротайственным сумраком – это делало меня нечувствительным. Я снова вернулся к себе домой, хо-

тя лишь рабом и прислужником боготворимого образа.

О том времени я не могу думать без какой-то растроганности. Я снова искренне старался построить из развалин рухнувшей жизни некий «светлый мир», снова жил одним-единственным желанием освободиться от темного и злого в себе и целиком пребывать в светлом, преклонив колени перед богами. Этот теперешний «светлый мир» был все же в какой-то мере сотворен мною самим; это не было уже убежание к матери, в безответственную укрытость и защищенность, это было новое, выдуманное и потребованное мною самим служение, с ответственностью и самодисциплиной. Сексуальность, от которой я страдал и всегда бежал, должна была в этом священном огне преобразиться в дух и благоговение. Не должно было больше быть ничего темного, ничего безобразного, никаких ночных стонов, никакого сердцебиения перед непристойными картинами, никаких подслушиваний у запретных ворот, никакой похотливости. Вместо всего этого я воздвиг свой алтарь с образом Беатриче и, посвятив себя ей, посвятил себя и богам. Ту долю жизни, которую я отобрал у темных сил, я принес в жертву светлым. Не наслаждение было моей целью, а чистота, не счастье, а красота и духовность.

Этот культ Беатриче изменил мою жизнь целиком и полностью. Вчера еще скороспелый циник, я был теперь прислужником в храме, задавшимся целью стать святым. Я не только бросил скверную жизнь, к которой привык, я старался изменить все, старался внести во все чистоту, благородство и достоинство, стремился к этому в еде и питье, в языке и одежде. Я начинал утро с холодных омовений, к которым сперва с трудом себя принуждал. Я вел себя строго и с достоинством, держался прямо и придавал своей походке медленность и степенность. Внешне это выглядело, наверно, смешно, – а у меня в душе это было сплошным богослужением.

Из всех этих новых упражнений, в которых я старался выразить свои новые взгляды, одно сделалось для меня важным. Я стал рисовать. Началось с того, что имевшийся у меня английский портрет Беатриче был недостаточно похож на ту девушку. Я решил попробовать нарисовать ее для себя. С совершенно новой радостью и надеждой я принес в свою комнату – с недавних пор у меня была собственная комната – хорошую бумагу, краски и кисти, приготовил палитру, стекло, фарфоровые плоские, карандаши. Тонкие эмульсионные краски в тюбиках, мною купленные, приводили меня в восторг. Среди них была огненная хромовая зеленая, мне и сейчас видится, как она в первый раз вспыхнула в маленькой белой плоскости.

Начал я с осторожностью. Написать лицо было трудно, я хотел попробовать сперва другое. Я писал орнаменты, цветы и маленькие пейзажи-фантазии, дерево у часовни, римский мост с кипарисами. Иногда я совсем забывался за этой игрой, был счастлив, как ребенок с коробкой красок. Но наконец я начал писать Беатриче.

Несколько листов совсем не удались и были отброшены. Чем больше пытался я представить себе лицо девушки, которую я нет-нет да встречал на улице, тем хуже шло дело. В конце концов я отказался от этого и начал просто писать лицо, подчиняясь фантазии и тем указаниям, которые из начатого, из красок и кисти возникали сами собой. Лицо, которое получилось, отвечало мечтам, и я не был им недоволен. Однако я сразу продолжил опыт, и каждый новый лист говорил чуть более ясным языком, подходил ближе к типу, хоть и отнюдь не к действительности.

Все больше и больше привыкал я проводить линии мечтательной кистью и заполнять плоскости, для которых не было какого-то образца, которые возникали наугад из игры, из неосознанного. Наконец я однажды, почти бессознательно, написал лицо, говорившее мне больше, чем все прежние. Это не было лицо той девушки, да и задачи такой давно не ставилось. Это больше походило на лицо юноши, чем на девичье лицо, волосы были не светло-русые, как у моей красавицы, а каштановые с рыжеватостью, подбородок был сильный и твердый, а рот алый, в целом лицо получилось несколько неподвижное, похожее на маску, но было выразительно и полно тайной жизни.

Когда я сидел перед готовым листом, он производил на меня странное впечатление. Он казался мне чем-то вроде иконы или священной маски, полумужской-полуженской, без алтаря, в такой же мере исполненной воли, как и мечтательности, в такой же мере неподвижной, как и втайне живой. Это лицо что-то говорило мне, оно было частью меня, оно предъявляло мне какие-то требования. И в нем было сходство с кем-то, я не знал с кем.

Этот портрет сопровождал некоторое время все мои мысли и разделял мою жизнь. Я прятал

его в выдвижном ящике, чтобы никто не обнаружил его и не высмеял меня за него. Но как только я оказывался один в своей клетушке, я извлекал картину из ящика и вступал с ней в общение. Вечером я прикалывал ее напротив себя над кроватью булавкой к обоям, смотрел на нее, прежде чем уснуть, а утром на нее падал мой первый взгляд.

Как раз в то время мне снова стали часто сниться сны, что всегда бывало со мной в детстве. Мне казалось, что у меня уже целые годы не было сновидений. Теперь они снова появились, картины совершенно нового рода, и в них часто возникало написанное мною лицо, живое, говорящее, расположенное ко мне то дружелюбно, то враждебно, то искаженное гримасой, то бесконечно прекрасное, гармоничное и благородное.

И однажды утром, проснувшись после таких снов, я вдруг узнал его. Оно глядело на меня удивительно знакомым взглядом, оно, казалось, выкликало мое имя. Казалось, оно знает меня как мать, казалось, оно обращено ко мне издавна. С колотящимся сердцем уставился я на этот лист, на каштановые густые волосы, на полуженский рот, на могучий лоб со странным свечением (само так высохло), и все сильнее и сильнее делалось во мне чувство, что я узнаю, обретаю вновь, знаю.

Я вскочил с постели, встал перед этим лицом и уставился в него с очень близкого расстояния, прямо в его широко раскрытые, зеленоватые, неподвижные глаза, из которых правый был расположен чуть выше другого. И вдруг этот правый глаз мигнул, мигнул слегка, чуть-чуть, но явственно, и тогда я узнал, кого я изобразил.

Как мог я понять это только так поздно! Это было лицо Демиана.

Позднее я не раз сравнивал свой лист с подлинными чертами Демиана, сохранившимися у меня в памяти. Они были не совсем такие же, хотя и похожи. Но все-таки это был Демиан.

В один из вечеров начала лета солнце косо светило красным в мое выходившее на запад окно. В комнате стало сумрачно. Тут мне вздумалось прикрепить булавкой портрет Беатриче, или Демиана, к оконному переплету и посмотреть его на просвет при вечернем солнце. Очертания лица расплылись, но глаза с красноватой каймой, свечение на лбу и алый рот зажглись, вырвались из плоскости, запылали. Я долго сидел перед портретом и когда он уже погас. И постепенно у меня возникло чувство, что это не Беатриче и не Демиан, а я сам. Портрет не был похож на меня, – да и не должен был, чувствовал я, походить, – но он был тем, что составляло мою жизнь, он был моим нутром, моей судьбой или моим демоном. Таков будет мой друг, если я снова когда-либо найду друга. Такова будет моя возлюбленная, если она у меня когда-либо появится. Такова будет моя жизнь, и такова будет моя смерть, это звук и ритм моей судьбы.

В те недели я как раз начал читать одну книгу, которая произвела на меня более глубокое впечатление, чем все, что я читал прежде. Да и позже я уже редко так отдавался книгам, разве что, может быть, Ницше. Это был том Новалиса, с письмами и сентенциями, многих из которых я не понимал, но которые меня тем не менее несказанно привлекали и очаровывали. Одно из этих изречений мне теперь вспомнилось. Я написал его пером под портретом: «Судьба и нрав суть имена одного понятия». Это я теперь понял.

Девушка, которую я назвал Беатриче, встречалась мне еще часто. Волнения я больше при этом не чувствовал, а всегда – мягкое согласие, вещь уверенности: ты со мной связана, но не ты сама, а только твой портрет, ты – часть моей судьбы.

Моя тоска по Максу Демиану опять усилилась. Я ничего не знал о нем, уже много лет – ничего. Как-то раз я повстречался с ним на каникулах. Теперь я вижу, что скрыл эту короткую встречу в своих записках, и вижу, что причиной тому стыд и тщеславие. Я должен наверстать это.

Итак, однажды на каникулах, слоняясь с надменным и всегда немного усталым лицом моей беспутной поры по родному городу, размахивая тростью и вглядываясь в старые, неизменившиеся, презираемые лица обывателей, я увидел, что навстречу мне идет мой прежний друг. Заметив его, я вздрогнул. И тут же невольно вспомнил о Франце Кромере. Хоть бы Демиан успел забыть эту историю! Так неприятно было чувствовать себя обязанным ему – в сущности, ведь глупая детская история, а все-таки обязательство...

Он, казалось, ждал, поздороваюсь ли я с ним, и когда я сделал это как можно небрежнее, он подал мне руку. То было снова его рукопожатие! Такое крепкое, теплое и все же холодное, муж-

ское!

Он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал:

– Ты вырос, Синклер.

Сам он, показалось мне, нисколько не изменился, был так же стар, так же молод, как всегда.

Он присоединился ко мне, мы пошли гулять и говорили только о пустяках, не упоминая ни о чем из прежнего. Мне вспомнилось, что я когда-то писал ему, но ответа так и не получил. Ах, хоть бы он и это забыл, эти глупые, глупые письма! Он ничего о них не сказал!

Тогда не было еще никакой Беатриче и никакого портрета, пора моего беспутства еще продолжалась. За городом я пригласил его зайти в кабачок. Он согласился. Я хвастливо заказал бутылку вина, разлил по стаканам, чокнулся с ним и показал хорошее знание студенческих застольных обычаев, осушив первый стакан одним духом.

– Ты часто ходишь в кабаки? – спросил он меня.

– Ах да, сказал я лениво, – что еще делать? Это как-никак веселее всего.

– Ты находишь? Возможно, что-то славное в этом есть – опьянение, вакхическая радость! Но я нахожу, что у большинства людей, проводящих много времени в кабаках, это пропало начисто. Мне представляется, что как раз хождение по кабакам есть нечто воистину мещанское. Да, всю ночь напролет, с горящими факелами, в настоящем ударе и угаре! Но так изо дня в день, кружку за кружкой, разве это правильно? Можешь себе представить, например, чтобы Фауст вечер за вечером сидел за столом для завсегдатаев?

Я пил и смотрел на него враждебно.

Да, но не каждый же Фауст, – сказал я коротко.

Он взглянул на меня немного озадаченно. Затем рассмеялся с прежней бодростью и превосходством.

– Ну, зачем спорить об этом? Во всяком случае, жизнь пьяницы и распутника, вероятно, живее, чем жизнь безупречного обывателя. И к тому же – я это где-то прочел, – жизнь распутника – лучшая подготовка для мистика. Всегда ведь есть такие люди, как святой Августин, которые становятся ясновидцами.

Я был недоверчив и вовсе не хотел, чтобы он меня поучал. Поэтому я сказал равнодушно:

– Что ж, у каждого свой вкус! У меня, честно признаться, нет ни малейшего поползновения стать ясновидцем или кем-то таким.

Демиан знающе сверкнул на меня чуть прищуренными глазами.

– Дорогой Синклер, – сказал он медленно, – у меня не было намерения говорить тебе неприятные вещи. Кстати, для чего ты сейчас осушаешь стакан за стаканом, мы ведь оба не знаем. Знает это то в тебе, что создает твою жизнь. Хорошо знать, что внутри у нас есть кто-то, кто все знает, всего желает, все делает лучше, чем мы сами... Однако прости, мне пора домой.

Мы быстро попрощались. Я мрачно остался сидеть, допивая свою бутылку до дна, а при уходе узнал, что Демиан уже за все заплатил. Это раздосадовало меня еще больше.

На этой мелочи снова остановились теперь мои мысли. Они были полны Демианом. И слова, сказанные им в том загородном кабачке, снова возникли у меня в памяти с поразительной свежестью и точностью: «Хорошо знать, что внутри у нас есть кто-то, кто все знает!»

Я смотрел на картину, висевшую на окне и совсем погасшую. Но я видел глаза еще пылающими. Это был взгляд Демиана. Или тот, что был внутри у меня. Тот, что все знал.

Как тосковал я по Демиану! Я ничего не знал о нем, он был недостижим для меня. Я знал только, что он, наверно, где-то еще учится и что, после того как он окончил гимназию, его мать покинула наш город.

Я перебирал все, что помнил о Демиане, начиная с моей истории с Кромером. Много всплывало тут из того, что он говорил мне когда-то, и все имело смысл и поныне, было злободневно, касалось меня! И то, что он при нашей последней, такой нерадостной встрече сказал о распутнике и святом, тоже вдруг ярко вспыхнуло у меня в душе. Разве не то же в точности происходило со мной? Разве не жил я в хмелю и грязи, в отупении и потерянности, пока новый импульс жизни не пробудил во мне что-то прямо противоположное, желание чистоты, тоску по святому?

Так продолжал я ворошить воспоминания, а между тем давно наступила ночь, и за окном

шел дождь. В своих воспоминаниях я тоже слышал шум дождя, это было в тот час под каштанами, когда он стал выпрашивать меня о Кромере и разгадал мои первые тайны. Одно всплывало за другим, разговоры по дороге в школу, уроки для конфирмующихся. И наконец мне вспомнилась моя самая первая встреча с Максом Демианом. О чем же шла речь? Сразу я не мог вспомнить, но я не торопился, я целиком погрузился в это. И вот оно вернулось, это тоже. Мы стояли перед нашим домом, после того как он сообщил мне свое мнение о Каине. Он говорил тогда о старом, стершемся гербе над нашей входной дверью, на расширяющемся снизу вверх замковом камне. Он сказал, что этот герб интересует его и что на такие вещи надо обращать внимание.

Ночью мне снились Демиан и герб. Герб непрестанно видоизменялся, Демиан держал его в руках, герб становился то маленьким и серым, то громадным и многоцветным, но Демиан объяснил мне, что это всегда один и тот же герб. А под конец он заставил меня съесть герб. Проглотив его, я с неопишуемым ужасом почувствовал, что проглоченная птица с герба во мне жива, что она заполняет меня и начинает пожирать изнутри. В смертельном страхе я вскочил и проснулся.

Сон ушел, была глубокая ночь, я услышал, что дождь заливает комнату. Я встал, чтобы закрыть окно, и наступил при этом на что-то светлое, лежавшее на полу. Утром я обнаружил, что это был мой лист с портретом. Он лежал в мокрости на полу и весь покоробился. Для просушки я положил его между листами промокательной бумаги в тяжелую книгу. Когда я на следующий день проверил его, он успел высохнуть. Но он изменился. Красный рот побледнел и стал немного уже. Теперь это был совсем рот Демиана.

Я принялся писать новый лист, птицу с герба. Какого она, собственно, была вида, я помнил неясно, да и кое-что, как я помнил, нельзя было различить и с близкого расстояния, потому что изображение это было старое и неоднократно закрашивалось. Птица стояла или сидела на чем-то, не то на цветке, не то на корзинке, или гнезде, или на кроне дерева. Я об этом не беспокоился и начал с того, о чем имел ясное представление. Из какой-то смутной потребности я сразу пустил в ход яркие краски, голова птицы была на моем листе золотисто-желтой. В зависимости от настроения я продолжал эту работу и через несколько дней закончил ее.

Птица получилась хищная, с острой, отважной ястребиной головой. Туловище ее наполовину торчало в темном земном шаре, из которого она вылезала, как из гигантского яйца, на фоне синего неба. По мере того как я глядел на этот лист, мне все больше и больше казалось, что передо мной такой же цветной герб, как в моем сне.

Написать Демиану письмо я не смог бы, даже если бы знал куда. Но в том же мечтательном предчувствии, в каком я все делал тогда, я решил послать ему этот лист с ястребом, независимо от того, дойдет ли он до него или нет. Ничего не написав на листе, даже своей фамилии, я тщательно обрезал края, купил большой конверт и написал на нем прежний адрес своего друга. Так это и отправил.

Приближался какой-то экзамен, и мне приходилось больше обычного работать для школы. Учителя снова стали милостивы ко мне, с тех пор как я вдруг прекратил свои безобразия. Хорошим учеником я, правда, и теперь не был, но ни я, ни кто-либо еще уже не помнили, что полгода назад все допускали возможность моего исключения из школы.

Отец опять писал мне в прежнем тоне, без упреков и угроз. Однако я не испытывал потребности объяснять ему или кому-либо еще, как произошла во мне эта перемена. Случайно эта перемена совпала с желаниями моих родителей и учителей. Эта перемена не привела меня к другим людям, ни с кем не сблизилась, сделала меня лишь еще более одиноким. Она устремлялась куда-то, к Демиану, к дальней судьбе. Я ведь и сам этого не знал, я ведь был внутри происходившего. Началось все с Беатриче, но с некоторого времени я жил со своими листами и своими мыслями в мире настолько нереальном, что потерял из виду и ее. Никому, даже если и хотел бы, я не смог бы сказать ни слова о моих снах, моих ожиданиях, моей внутренней перемене.

Но как я мог этого хотеть?

Глава пятая Птица выбирается из гнезда

Моя нарисованная птица из сновидения находилась в пути и искала моего друга. Ответ пришел ко мне самым поразительным образом.

У себя в классе, на своем месте, я после перерыва между двумя уроками нашел вложенную в мою книгу записку. Сложена она была так, как это обычно делалось, когда одноклассники тайком обменивались записочками во время занятий. Меня удивило только, что кто-то прислал мне такую записку, ибо ни с кем из учеников у меня общения не было. Я решил, что это, наверно, приглашение участвовать в какой-либо проказе, которого я, конечно, не приму, и, не прочитав записки, положил ее перед собой в книгу. Лишь во время урока она случайно опять оказалась у меня в руках.

Я поиграл с этой бумажкой, бездумно развернул ее и нашел в ней запись нескольких слов. Я взглянул на них, остановился взглядом на одном слове, испугался и прочел со сжавшимся перед судьбой, как от большого холода, сердцем:

«Птица выбирается из яйца. Яйцо – это мир. Кто хочет родиться, должен разрушить мир. Птица летит к Богу. Бога зовут Абракас».

Много раз перечитав эти строки, я погрузился в раздумья. Не подлежало сомнению, это был ответ Демиана. Никто не мог знать о птице, кроме меня и его. Он получил мою картину. Он понял и помог мне истолковать ее. Но как все это было связано? И – это мучило меня прежде всего – что значило Абракас? Я никогда не слышал и не читал такого слова. «Бога зовут Абракас»!

Урок прошел, а я ничего не слышал. Начался следующий, последний, предобеденный. Его давал новый сверхштатный учитель, только что покинувший университетскую скамью и нравившийся нам уже потому, что держался с нами без напускной важности.

Под руководством доктора Фоллена мы читали Геродота. Это чтение относилось к тем немногим учебным занятиям, которые интересовали меня. Но на сей раз я как бы отсутствовал. Я машинально раскрыл книгу, но за переводом не следил, по-прежнему погруженный в свои мысли. Кстати сказать, я не раз уже убеждался на опыте, как верно было то, что сказал мне тогда, на занятиях для конфирмующихся, Демиан. Чего пожелаешь достаточно сильно, то удастся. Если я во время урока бывал очень сильно занят собственными мыслями, я мог быть уверен, что учитель оставит меня в покое. А если ты рассеян и сонлив, он тут как тут – это уже тоже со мной случилось. Но если ты действительно задумался, действительно ушел в свои мысли, ты был защищен. И сказанное насчет пристального взгляда я уже проверял, и все подтверждалось. Тогда, во времена Демиана, у меня это не получалось, а теперь я часто чувствовал, что взглядами и мыслями можно добиться очень многого.

И вот я сидел и был далеко-далеко от Геродота и от школы. Но вдруг до меня дошел, молнией ударил меня голос учителя, и я в страхе очнулся. Я услышал его голос, он стоял совсем рядом со мной, я уже подумал, что он окликнул меня по фамилии. Но он и не смотрел на меня. Я облегченно вздохнул.

Тут я услышал его голос опять. Он громко произнес слово «Абракас».

В своем комментарии, начало которого от меня ускользнуло, доктор Фоллен продолжал:

– Не надо представлять себе взгляды этих сект и мистических объединений древности такими наивными, какими они кажутся с рационалистической точки зрения. Науки в нашем понимании древность вообще не знала. Зато очень высоко развит был интерес к философско-мистическим истинам. Отчасти отсюда возникли магия и игра, которые, бывало, вели и к обману, и к преступлению. Но и у магии было благородное происхождение и глубокие мысли. Таково и учение об Абракасе, которое я сейчас привел в пример. Это имя называют в связи с греческими волшебными формулами, и многие считают его именем какого-то беса-волшебника, какие и поныне есть у диких народов. Кажется, однако, что Абракас означает гораздо больше. Мы можем считать его именем божества, символической задачей которого было соединять божественное и дьявольское.

Маленький ученый ревностно продолжал свою тонкую речь, никто не был очень внимателен, и поскольку это имя больше не упоминалось, мое внимание тоже вскоре опять переключилось на меня самого.

«Соединять божественное и дьявольское» – отдавалось во мне. От этого я мог оттолкнуться. Это было знакомо мне по разговорам с Демианом на самых первых порах нашей дружбы. Демиан сказал тогда, что у нас хоть и есть Бог, которого мы чтим, но он представляет лишь произвольно

отделенную половину мира (это был официальный, дозволенный, «светлый мир»). А чтить надо уметь весь мир, поэтому нужно либо иметь Бога, который был бы также и дьяволом, либо учредить наряду с богослужением и служение дьяволу... И вот, значит, Абракасас был богом, который был и богом, и дьяволом.

Воспользовавшись этим следом, я какое-то время усердно вел поиски, но вперед не продвинулся. Я безуспешно перерыл целую библиотеку, гоняясь за Абракасасом. Но моя натура никогда особенно не стремилась к такого рода прямым и сознательным поискам, когда сперва находишь лишь истины, подобные вложенным тебе в руку – вместо хлеба – камням.

Образ Беатриче, известное время так сильно и глубоко меня занимавший, постепенно тонул, вернее, медленно отступал от меня, все больше уходя к горизонту, все больше расплываясь, отдаляясь, бледнея. Его было уже мало душе.

В той странной самопогруженности, в которой я, как сомнамбула, жил, формировалось теперь что-то новое. Во мне расцветала тоска по жизни, вернее, тоска по любви, и влечение пола, которое я какое-то время унимал поклонением Беатриче, требовало новых образов и целей. У меня все еще ничего не сбылось, и немыслимее, чем когда-либо, было для меня обмануть свою тоску и ждать чего-то от девушек, у которых искали счастья мои товарищи. Я с новой силой отдавался снам, причем больше днем, чем ночью. Видения, картины и желания поднимались во мне и уносили меня от внешнего мира до такой степени, что с этими тенями или снами у меня была более реальная и живая связь, чем с моим подлинным окружением.

Один определенный сон – его можно назвать и определенной игрой фантазии, – то и дело повторявшийся, стал для меня полным значения. Сон этот, важнейший и сквернейший в моей жизни, был примерно таков. Я возвращался в свой отчий дом – над входом светилась желтым птица на синем фоне, – в доме навстречу мне вышла мать, но когда я вошел и хотел обнять ее, это оказалась не она, а какая-то неведомая фигура, высокая и могучая, похожая на Макса Демиана и на написанный мной портрет, но другая и, несмотря на могучесть, явно женская. Эта фигура привлекла меня к себе и приняла в глубокое, трепетное любовное объятие. Блаженство и ужас смешивались, объятие было богослужением и было в такой же мере преступлением. Слишком многое напоминало мою мать, слишком многое напоминало Демиана в фигуре, которая меня обняла. Ее объятие было поприем всякой почтительности и все же было высшим счастьем. Часто пробуждался я после этого сна с глубоким чувством счастья, а часто со смертельным страхом и измученной совестью, как после ужасного греха.

Лишь постепенно и бессознательно установилась связь между этой целиком внутренней картиной и тем пришедшим ко мне извне указанием насчет искомого бога. Но потом связь эта стала теснее и глубже, и я почувствовал, что как раз в этом вещем сне я и призывал Абракасаса. Блаженство и ужас, смешение мужчины и женщины, сплетение самого святого и самого омерзительного, дрожь глубокой вины, пронимающая нежнейшую невинность, – такова была любовь в моем видении, и таков же был Абракасас. Любовь уже не была животным, темным влечением, как то страшило меня вначале, не была она уже и одухотворенным, молитвенным преклонением, какое рождал у меня образ Беатриче. Она была и тем, и другим, тем и другим и еще гораздо большим, она была ангельским подобием и сатаной, мужчиной и женщиной одновременно, человеком и животным, величайшим благом и величайшим злом. Жить этим казалось мне моим назначением, изведать это – моей судьбой. Я стремился к такой судьбе и боялся ее, но она всегда присутствовала, всегда была надо мной.

Следующей весной я должен был покинуть гимназию и стать студентом, я еще не знал – где и на каком факультете. Над губой у меня пробилась растительность, я был взрослый человек и все же совершенно беспомощен и без каких-либо целей. Твердо было только одно: мой внутренний голос, мое видение. Я чувствовал, что моя задача – слепо подчиняться этой направляющей воле. Но удавалось мне это с трудом, и я каждый день восставал. Может быть, я сумасшедший, думал я нередко, может быть, я не такой, как другие люди? Но все, что совершали другие, выходило и у меня, при некотором старании и усилении я мог читать Платона, мог разобраться в химическом анализе. Одного только я не мог – вырвать из темноты скрытую во мне цель и нарисовать где-то перед собой, как это делали другие, которые точно знали, что они хотят стать профессором или су-

дней, врачом или художником, сколько на это уйдет времени и какие это сулит преимущества. Я так не мог. Может быть, я тоже стану когда-нибудь кем-то таким, но откуда мне это знать? Может быть, я тоже должен искать, искать годами и так и не стану никем, так и не приду ни к какой цели. А может быть, к какой-то и приду, но это окажется злая, опасная, ужасная цель.

Я ведь всего только хотел попытаться жить тем, что само рвалось из меня наружу. Почему же это было так трудно?

Часто я делал попытки нарисовать фигуру, в которой предстала любовь в моем сновидении. Но это ни разу не удавалось. Если бы удалось, я послал бы свой лист Демиану. Где был он? Я этого не знал. Я знал только, что он был связан со мной. Когда я увижу его снова?

Приятное спокойствие тех недель и месяцев, которые составили эпоху Беатриче, давно прошло. Тогда я думал, что достиг какого-то острова, обрел какой-то мир. Но так бывало всегда: едва только какое-то состояние становилось мне мило, едва только какая-то мечта оказывала на меня благотворное действие, как они уже увядали, тускнели. Напрасное дело – вздыхать о них! Я жил теперь в огне неутоленного желания, напряженного ожидания, который часто приводил меня в полное неистовство. Образ приснившейся возлюбленной я видел теперь часто перед собой с невероятной ясностью, гораздо яснее, чем собственную руку, я говорил с ним, плакал перед ним, клял его. Я называл его матерью и в слезах становился перед ним на колени, я называл его любимой и предугадывал его зрелый, всеисполняющий поцелуй, я называл его чертом и потаскухой, вампиром и убийцей. Он соблазнял меня на нежные любовные мечтанья и на всяческие бесстыдства, он не знал границ ни в добром и великолепном, ни в скверном и низком.

Всю ту зиму я прожил во внутренней буре, описать которую мне трудно. К одиночеству я привык давно, оно не угнетало меня, я жил с Демианом, с ястребом, с образом приснившейся мне высокой фигуры, которая была моей судьбой и моей возлюбленной. Этого было достаточно, чтобы в этом жить, ибо все дышало чем-то большим, далеким, все указывало на Абракасаса. Но ни один мой сон, ни одна моя мысль не были мне послушны, ни одной я не мог вызвать, ни одну не мог расцветить по своему желанию. Они приходили и захватывали меня, управляли мною, составляли мою жизнь.

Внешне я, правда, был защищен. Перед людьми страха я не испытывал, это усвоили и мои однокашники и относились ко мне с тайным уважением, часто вызывая у меня улыбку. Если я хотел, я мог разглядеть насквозь большинство из них, чем, случалось, и изумлял их. Только хотел я этого редко или вообще не хотел. Я был занят всегда собой, всегда самим собой. И я страстно желал пожить наконец-то тоже, выпустить что-то из себя в мир, вступить с ним в какие-то отношения, в борьбу. Иной раз, когда я вечером бродил по улицам и от беспокойства не мог до полуночи вернуться домой, иной раз я думал, что вот сейчас встретится мне моя возлюбленная, пройдет мимо у следующего угла, позовет меня из ближайшего окна. А иной раз все это казалось мне невыносимо мучительным, и я бывал готов покончить с собой.

Некое своеобразное прибежище нашел я в ту пору – «случайно», как принято говорить. Но таких случайностей не бывает. Когда тот, кому что-то необходимо, находит это необходимое, причина тому не случайность, а он сам, ведет его собственная потребность, собственная неволя.

Во время моих прогулок по городу до меня уже два или три раза доносились из одной церквушки на окраине звуки органа, но я там не задерживался. Проходя мимо этой церкви в очередной раз, я снова услышал орган и узнал музыку Баха. Я подошел к входной двери, которую нашел запертой, и поскольку улица была почти безлюдна, сел возле церкви на защитную тумбу, поднял воротник пальто и стал слушать. Орган был небольшой, но хороший, а играли на нем замечательно, с необыкновенным, очень личным выражением воли и упорства, звучавшим как молитва. У меня было такое чувство: играющий знает, что в этой музыке спрятано сокровище, и домогается этого сокровища, бьется и борется за него как за собственную жизнь. В музыке, если иметь в виду технику, я мало что понимаю, но именно это выражение души я инстинктивно понимал с детства и музыкальность чувствовал в себе как нечто само собой разумеющееся.

Музыкант сыграл потом и что-то современное, возможно, Регера. В церкви было почти совсем темно, только ближайшее окно слабо светилось. Я дождался конца музыки, а потом прохаживался возле церкви, пока не увидел выходящего органиста. Это был человек еще молодой, од-

нако старше, чем я, неуклюжий, приземистый, он быстро, энергично и как бы недовольно зашагал прочь.

С тех пор я иногда сидел в вечерние часы перед церковью или прогуливался возле нее. Однажды я застал дверь открытой и, счастливый, просидел, замерзая, полчаса на скамье, пока органист играл наверху при скудном газовом свете. В музыке, которую он играл, я слышал не только его самого. Все, что он играл, было, казалось мне, также связано каким-то родством, какой-то тайной связью. Все, что он играл, было религиозно, было истово и благочестиво, но благочестиво не как прихожане и пасторы, а благочестиво, как паломники и нищие в средние века, благочестиво со всей безоглядной полнотой того мироощущения, которое превышает всех вероисповеданий. Усердно игрались добаховские мастера и старые итальянцы. И все говорили одно и то же, все говорили то, что было и у музыканта в душе: тоска, проникновенное приятие мира и буйный разрыв с ним, жгучая напряженность вслушивающегося в собственную душу, опьянение отдающегося и глубокое любопытство к чудесному.

Тайком преследуя однажды органиста после его ухода из церкви, я увидел, как на самом краю города он зашел в маленький кабачок. Я не удержался и последовал за ним. Здесь я впервые как следует его рассмотрел. Он сидел за столиком в углу небольшой комнаты, не сняв черной фетровой шляпы, за кружкой вина, и лицо его было таким, как я ожидал. Оно было некрасиво и диковато, пылливо и упрямо, своенравно и полно воли, хотя вокруг рта виделось что-то мягкое и детское. Все мужское и сильное сосредоточилось в глазах и во лбу, нижняя часть лица была нежная и незрелая, несобранная и отчасти рыхловатая, полный нерешительности подбородок как бы противоречил своим мальчишеским видом лбу и выражению взгляда. Мне были приятны его темно-карие глаза, полные гордости и враждебности.

Я молча сел напротив него, никого больше в кабачке не было. Он сверкнул на меня глазами, словно хотел прогнать меня. Я, однако, не поддался и не отрывал от него взгляда, пока он грубовато не пробурчал:

– Что вы уставились? Вам что-то от меня нужно?

– Ничего мне от вас не нужно, – сказал я. – Но я уже многое от вас получил.

Он нахмурился.

– Вы меломан? По-моему, это отвратительно – быть меломаном.

Я не дал ему отпугнуть себя.

– Я вас уже не раз слушал, там, в церкви, – сказал я. – Впрочем, не хочу докучать вам. Я думаю, что, может быть, найду у вас что-то, что-то особое, сам не знаю что. Но лучше вообще не обращайте на меня внимания! Я ведь могу слушать вас в церкви.

– Я же всегда запираюсь.

– Недавно вы забыли запереть дверь, и я сидел внутри. Обычно я стою снаружи или сижу на тумбе.

– Вот как? В другой раз входите, там теплее. Просто надо постучать в дверь. Но посильнее, и не во время игры. Теперь выкладывайте – что вы хотели сказать? Вы человек совсем еще молодой, наверно, школьник или студент. Вы музыкант?

– Нет. Я люблю слушать музыку, только такую, как вы играете, совершенно безусловную музыку, при которой чувствуешь, что тут человек потрясает небо и ад. Музыка я очень люблю, думаю, потому, что в ней так мало нравственности. Все другое нравственно, а я ищу чего-то иного. От нравственности я всегда только страдал. Я не умею хорошо выражать свои мысли... Знаете ли вы, что должен существовать бог, который одновременно и бог, и дьявол? Такой бог будто бы был, я слышал об этом.

Музыкант немного сдвинул назад свою широкополую шляпу и смахнул с большого лба темные волосы. При этом он бросил на меня пронизательный взгляд и склонился ко мне над столом.

Он тихо и с любопытством спросил:

– Как зовут бога, о котором вы говорите?

– К сожалению, я почти ничего не знаю о нем, только, собственно, имя и знаю. Его зовут Абрахас.

Музыкант как бы недоверчиво огляделся вокруг, словно нас мог кто-то подслушивать. Затем

он придвинулся ко мне и шепотом сказал:

– Так я и думал. Кто вы такой?

– Я гимназист.

– Откуда вы узнали об Абраксасе?

– Случайно.

Он так стукнул по столу, что вино выплеснулось у него из кружки.

– Случайно! Не крутите мне... не морочьте мне голову, молодой человек! Об Абраксасе случайно нельзя узнать, запомните это. Я расскажу вам о нем еще кое-что. Я немного знаю о нем.

Он умолк и отодвинул свой стул назад. Когда я с ожиданием взглянул на него, он скорчил гримасу.

– Не здесь! В другой раз... Вот возьмите!

При этом он полез в карман своего пальто, которого не снял, и, вытащив оттуда несколько жареных каштанов, бросил их мне.

Я ничего не сказал, взял каштаны, принялся их есть и был очень доволен.

– Итак? – прошептал он через некоторое время. – Откуда вы! знаете о... нем?

Я не стал медлить с ответом.

– Я был очень одинок и растерян, – рассказал я. – Тут мне вспомнился один мой друг прежних лет, который, как я считаю, очень много знает. Я что-то нарисовал, какую-то птицу, вылезающую из земного шара, и послал рисунок ему. Через некоторое время, когда я уже не ждал этого, у меня в руках оказался клочок бумаги, на котором было написано: «Птица выбирается из яйца. Яйцо – это мир. Кто хочет родиться, должен разрушить мир. Птица летит к богу. Бога зовут Абраксас».

Он ничего не ответил, мы чистили каштаны и ели их, запивая вином.

– Возьмем еще по кружке? – спросил он.

– Спасибо, нет. Я не люблю пить.

Он засмеялся, несколько разочарованный.

– Как хотите! Со мной дело обстоит иначе. Я еще посижу здесь. А вы ступайте!

Когда я в следующий раз пошел с ним после его игры на органе, он был не очень общителен. На одной старой улице он провел меня через какое-то очень старое импозантное здание вверх, в большую, мрачноватую и запущенную комнату, где кроме рояля ничего не говорило о музыке, а было что-то от кабинета ученого благодаря большому книжному шкафу и письменному столу.

– Сколько у вас книг! – сказал я с похвалой.

– Часть их – из библиотеки моего отца, у которого я живу. Да, молодой человек, я живу у отца и матери, но я не могу представить вас им, мое общество не пользуется в этом доме большим уважением. Я, знаете ли, блудный сын. Мой отец – человек на диво достопочтенный, он – выдающийся в этом городе священник и проповедник. А я, чтобы вы сразу были в курсе дела, его способный и многообещающий сынок, который, однако, сбился с пути и некоторым образом сошел с ума. Я был богословом и незадолго до государственного экзамена бросил этот добропорядочный факультет. Хотя, собственно, все еще занимаюсь этим предметом – имея в виду мои частные изыскания. Каких богов придумывали себе люди в разные времена, это мне все еще очень важно и интересно. А вообще я теперь музыкант и, кажется, скоро получу скромное место органиста. Тогда я снова буду при церкви.

Я оглядывал корешки, книг, находил греческие, латинские, древнееврейские заглавия, насколько это можно было различить при слабом свете маленькой настольной лампы. Между тем мой знакомый лег в темноте у стены на пол и с чем-то там возился.

– Идите сюда, – позвал он вскоре, – мы сейчас немного пофилософствуем, то есть помолчим, полежим на полу и подумаем.

Он чиркнул спичкой и поджег в камине, перед которым лежал, бумагу и поленья. Пламя высоко поднималось, он разгребал уголья и раздувал огонь с изысканной осмотрительностью. Я лег рядом с ним на потертый ковер. Он посмотрел на огонь, который притягивал и меня, и мы пролежали, наверно, час на животе перед колышущимся пламенем, глядя, как оно вспыхивает и бушует, опадает и корчится, угасает и вздрагивает и наконец оседает тихо пылающим жаром.

– Огнепоклонство – не самое глупое изобретение, – пробормотал он однажды себе под нос. Вообще же ни один из нас не произносил ни слова. Не сводя глаз с огня, я погружался в мечты и тишину, видел какие-то фигуры в дыме, какие-то картины в золе. Один раз я вздрогнул от неожиданности. Мой товарищ бросил в жар кусочек смолы, взметнулось небольшое удлиненное пламя, я увидел в нем свою птицу с желтой ястребиной головой. В угасающем жаре пылающие золотом нити сплетались в сети, возникали буквы и картины, воспоминания о лицах, о животных, о растениях, о червях и змеях. Когда я, очнувшись, посмотрел на своего соседа, он неподвижно, самозабвенно и иступленно, подперев кулаками подбородок, глядел в золу.

– Мне пора идти, – сказал я тихо.

– Что ж, ступайте. До свидания!

Он не встал, и поскольку лампа была погашена, мне пришлось на ощупь, через темные комнаты и темные коридоры, выбираться из этого заколдованного старого дома. На улице я остановился и пробежал взглядом вверх по старому зданию. Свет не горел ни в одном окне. Отсвет газового фонаря поблескивал на медной дощечке у двери.

«Писториус, главный священник» – прочел я на ней.

Лишь дома, когда я один сидел за ужином в своей комнатухе, мне подумалось, что ни об Абраксасе, ни еще чего-либо я от Писториуса так и не узнал, что мы вообще и десятью словами не обменялись. Но своим посещением его дома я был очень доволен. И на следующий раз он обещал мне совсем редкостное произведение старинной органной музыки – пассакалью Букстехуде.

Я и не знал, что органист Писториус преподавал мне первый урок, когда я лежал с ним перед камином на полу его мрачной уединенной комнаты. Созерцание огня подействовало на меня благотворно, оно укрепило и утвердило во мне склонности, которые у меня всегда были, хотя я никогда не давал им воли. Постепенно это стало мне более или менее ясно.

Уже в раннем детстве меня иногда тянуло разглядывать причудливые формы природы – не как сторонний наблюдатель, а отдаваясь их волшебству, их мудреному глубокому языку. Длинные, одеревеневшие корни деревьев, цветные прожилки в камне, нефтяные пятна на воде, трещины в стекле – все подобные вещи обладали для меня порой великим волшебством, а также прежде всего вода и огонь, дым, облака, пыль и особенно кружащиеся цветные пятна, которые я видел, когда закрывал глаза. В дни после моего первого прихода к Писториусу мне это опять вспомнилось. Ибо я заметил, что каким-то подкреплением, какой-то радостью, каким-то усилением чувства самого себя, мною с тех пор ощущаемыми, я был обязан только долговому глядению на открытый огонь. Это было удивительно благотворное и обогащающее занятие!

К немногим открытиям, сделанным мною дотоле на пути к моей истинной цели жизни, прибавилось это новое: созерцание таких структур, самозабвенное погружение в иррациональные, мудреные, странные формы природы создает в нас чувство согласия нашей души с волей, сотворившей эти структуры; мы вскоре испытываем искушение считать их нашими собственными капризами, нашими собственными созданиями; мы видим, как граница между нами и природой дрожит и расплывается, и приходим в то состояние, когда нам невдомек, от внешних ли впечатлений ведут свое начало картины на нашей сетчатке или от внутренних. Нигде так просто и легко, как при этом упражнении, не обнаружить нам, в какой огромной мере мы сами – творцы, в какой огромной мере участвует всегда в непрестанном сотворении мира наша душа. Более того, в нас и в природе действует одно и то же неделимое божество, и если бы внешний мир погиб, кто-то из нас сумел бы создать его заново, ибо гора и река, дерево, и лист, корень и цветок – всё выстроенное в природе уже наперед выстроено в нас, ведет свое начало от души, чья суть – вечность, чья суть неведома нам, но ощущается нами большей частью как сила любви и сила творчества.

Лишь много лет спустя я нашел подтверждение этого наблюдения в одной книге, а именно – у Леонардо да Винчи, который где-то говорит о том, как хорошо и интересно смотреть на стену, заплеванную множеством людей. Перед каждым пятном на влажной стене он чувствовал то же, что Писториус и я – перед огнем.

При следующей нашей встрече органист дал мне некое объяснение.

– Мы всегда слишком сужаем границы своей личности! Мы причисляем к своей личности всегда только то, в чем усматриваем какую-то индивидуальную, какую-то отличительную особен-

ность. Но состоим то мы из всего, что есть в мире, каждый из нас; и точно так же как наше тело носит в себе всю родословную развития до рыб и еще дальше назад, так и в душе у нас содержится все, чем когда-либо жили души людей. Все боги и черти, которые были когда-либо, будь то у греков, китайцев или у зулусских кафров, все они в нас, все налицо как возможности, как желания, как выходы из положения. Если бы вымерло все человечество и остался один-единственный, сколько-нибудь способный ребенок, которого ничему не учили, то этот ребенок снова обрел бы весь ход вещей, снова смог бы создать богов, демонов, рай, заповеди и запреты, ветхие и новые заветы – решительно все.

– Ну, хорошо, – возразил я, – но в чем же тогда состоит ценность индивидуума? Почему мы еще стремимся к чему-то, если в нас все уже есть в готовом виде?

– Стоп! – с жаром воскликнул Писториус. – Это большая разница, только ли вы носите мир в себе или еще и знаете это! Безумец может родить мысли, которые напомнят Платона, а какой-нибудь смиренный ученичок гернгутерской школы творчески осмысляет глубокие мифологические рассуждения, которые встречаются у гностиков или у Зороастра. Но он ничего об этом не знает! Он – дерево или камень, в лучшем случае животное, пока он не знает этого. Но как только забрежит первая искра такого знания, он становится человеком. Вы же, наверно, не считаете всех двуногих, которых встречаете на улице, людьми только потому, что они ходят прямо и вынашивают своих детенышей девять месяцев? Вы же видите, что многие из них – рыбы или овцы, черви или ежи, многие – муравьи, многие – пчелы! Так вот, в каждом из них заложены возможности очеловечения, но принадлежат ему эти возможности только тогда, когда он о них догадается, когда частично даже их осознает.

Такого примерно рода были наши разговоры. Редко приносили они мне что-то совсем новое, совсем уж неожиданное. Но все, даже самый банальный, упорно и тихо били в одну точку во мне, все помогали моему становлению, все помогали мне сбрасывать с себя кожу за кожей, пробивать скорлупу за скорлупой, и после каждого я чуть выше, чуть вольнее поднимал голову, пока моя желтая птица не вытолкнула свою прекрасную хищную голову из разбитой оболочки миропорядка.

Часто также рассказывали мы друг другу свои сны. Писториус умел толковать их. Один поразительный пример мне как раз помнится. Мне приснилось, что я летал, но был как бы с размаха брошен в воздух, запущен с такой силой, что не мог с ней совладать. Чувство полета было возвышенным, но вскоре превратилось в страх, когда я увидел себя безвольно закинутым в рискованные высоты. Тут я сделал спасительное открытие, что могу регулировать подъем и падение задержкой и глубиной дыхания.

По этому поводу Писториус сказал:

– То, что заставило вас взлететь, – это великое достояние рода человеческого, которое у каждого из нас есть. Это чувство связи с истоками всякой силы, но от него нам вскоре становится страшно! Оно чертовски опасно! Поэтому большинство охотно отказывается от полета и предпочитает передвигаться по тротуару, как то предписывают законы. А вы – нет. Вы летите себе дальше, как и подобает дельному малому. И тут делаете поразительное открытие – что постепенно вы овладели полетом, что к большой всеобщей силе, которая вас уносит, прибавляется какая-то тонкая, маленькая, собственная сила, какой-то орган, какой-то руль! Это чудесно. Без этого безвольно залетишь неведомо куда, так оно и бывает, например, с сумасшедшими. Вам даны более глубокие предчувствия, чем людям с улицы, но, не имея нужного ключа, нужного руля, вы несетесь в бездну. Но вы, Синклер, вы справляетесь с положением! А как, скажите? Вы этого, наверно, еще не знаете? С помощью нового органа, регулятора дыхания. Вот вы и видите, насколько не «лична» ваша душа в своей глубине. Она же не изобретает этот регулятор! Он не нов! Он позаимствован, он существует тысячи лет. Он – это орган равновесия у рыб, плавательный пузырь. И в самом деле, есть и сегодня еще несколько странных и архаичных пород рыб, у которых плавательный пузырь – это одновременно и легкие и при случае действительно служит им для дыхания. То есть в точности так, как легкие, которыми вы во сне пользовались как летательным пузырем!

Он принес мне даже учебник зоологии и показал названия и изображения этих древних рыб. И с ужасом я почувствовал, что во мне жива некая функция, оставшаяся от ранних эпох развития.

Глава шестая Борение Иакова

То, что я узнал об Абраксасе от этого странного музыканта Писториуса, передать коротко нельзя. Но самым важным, чему я у него научился, стал следующий шаг на пути к самому себе. Тогда, лет в восемнадцать, я был необычным молодым человеком, во многих отношениях рано созревшим, а во многих других очень отсталым и беспомощным. Сравнивая себя с другими, я часто бывал горд и много о себе мнил, но столь же часто бывал подавлен и унижен. То я считал себя гением, то полусумасшедшим. Мне не удавалось участвовать в радостях и быте сверстников, и я часто мучился и корил себя так, словно был безнадежно от них отделен, словно жизнь для меня закрыта.

Писториус, который сам был большим оригиналом, учил меня сохранять мужество и уважение к себе самому. Тем, что он всегда находил в моих фантазиях и мыслях что-то ценное, принимал их всерьез и со всей серьезностью обсуждал, он подавал мне пример.

– Вы сказали мне, – говорил он, – что любите музыку, потому что она не нравственна. Ну, что ж. Но и вы-то сами не должны быть моралистом! Вы не должны сравнивать себя с другими, и если природа создала вас летучей мышью, вы не должны пытаться стать птицей страусом. Вы иногда считаете себя странным, вы корите себя за то, что идете иными путями, чем большинство. От этого вам следует отучиться. Смотрите на огонь, смотрите на облака, и когда у вас возникнут видения и в вашей душе заговорят голоса, положитесь на них и не спрашивайте, угодно ли, понравится ли это господину учителю, или господину папе, или какому-нибудь боженьке! Так губят себя. Так сливаются с толпой и становятся окаменелостью. Дорогой Синклер, нашего бога зовут Абраксас, и он и бог, и сатана, он включает в себя и светлый, и темный мир. Абраксас не возразит ни против одной вашей мысли, ни против одного вашего сна. Не забывайте этого. Но он покинет вас, если вы станете безупречны и нормальны. Тогда он покинет вас и найдет себе новый горшок, чтобы варить в нем свои мысли.

Из всех моих снов самым неотвязным был темный любовный сон. Часто, очень часто я видел его, входил под нашей геральдической птицей в наш старый дом, хотел привлечь к себе мать и обнимал вместо нее ту крупную, полумужского-полуматеринского вида женщину, которой я боялся и к которой меня все же тянуло пламенное желание. И этого сна я никак не мог рассказать своему другу. Его я утаил, когда уже открыл ему все другое. Этот сон был моим укрытием, моей тайной, моим прибежищем.

Когда я бывал угнетен, я просил Писториуса сыграть мне пассакалью старого Букстехуде. Я сидел тогда в вечерней, темной церкви, отдаваясь этой странной, искренней, погруженной в саму себя, вслушивающейся в саму себя музыке, которая каждый раз действовала на меня благотворно и повышала мою готовность признавать правоту голосов души.

Иногда мы на некоторое время оставались в церкви и после того, как умолкал орган, и смотрели, как слабый свет просачивался через высокие стрельчатые окна и затем исчезал.

– Кажется смешным, – сказал Писториус, – что когда-то я был богословом и чуть не стал священником. Но ошибался я тогда только в форме. Быть священником – мое призвание и моя цель. Только я слишком рано удовольствовался и отдал себя в распоряжение Иеговы, еще не зная Абраксаса. Ах, любая религия прекрасна. Религия – это душа, независимо от того, принимаешь ли по-христиански причастие или совершаешь паломничество в Мекку.

– Но тогда, – заметил я, – вы могли бы, собственно, стать священником.

– Нет, Синклер, нет. Мне ведь пришлось бы лгать. Наша религия исповедуется так, словно она не религия. Она делает вид, будто она – творение разума. Католиком я бы мог на худой конец стать, но протестантским священником – нет! Немногие истинно верующие – я знаю таких – держатся за буквальный смысл, им я не мог бы сказать, что Христос, например, был для меня не подлинное лицо, а герой, миф, огромный силуэт, в котором человечество запечатлело себя само на стене вечности. А другие, которые приходят в церковь, чтобы услышать умное слово, чтобы исполнить долг, чтобы ничего не пропустить и так далее – да, что должен был бы я сказать им? Об-

ратить их в веру, по-вашему? Но этого я вовсе не хочу. Священник не хочет обращать в веру, он хочет жить только среди верующих, среди таких, как он, хочет быть носителем и выразителем чувства, из которого мы создаем своих богов.

Он остановился. Затем продолжал:

– Наша новая вера, для которой мы сейчас выбираем имя Абракасаса, прекрасна, дорогой друг. Она – самое лучшее, что у нас есть. Но она еще младенец! Крылья у нее еще не выросли. Ах, одинокая религия – это еще не то, что нужно. Она должна стать общей, ей нужен культ и восторг, праздники и таинства...

Он задумался и ушел в себя.

– Разве нельзя справлять таинства и в одиночестве или в небольшом кругу? – спросил я нерешительно.

– Можно, – кивнул он. – Я давно уже их справляю. Я справлял такие культы, за которые мне пришлось бы просидеть годы в тюрьме, если бы об этом узнали. Но я знаю, это еще не то, что нужно.

Внезапно он хлопнул меня по плечу, я даже вздрогнул.

– Дружище, – сказал он проникновенно, – у вас тоже есть таинства. Я знаю, что вам должны сниться сны, о которых вы мне не говорите. Я не хочу знать их. Но я скажу вам: живите ими, этими снами, играйте в них, воздвигайте им алтари! Это еще не совершенство, но это некий путь. Обновим ли мы, вы, я и еще кто-то когда-нибудь мир, это еще видно будет. Но внутри себя мы должны обновлять его каждый день, иначе из нас ничего не выйдет. Подумайте об этом! В восемнадцать лет, Синклер, вы не ходите к уличным девкам, у вас должны быть любовные сны, любовные желания. Может быть, они таковы, что вы их боитесь. Не бойтесь их! Они – лучшее, что у вас есть! Можете мне поверить. Я многое потерял на том, что в ваши годы насиловал свои любовные сны. Этого делать не следует. Зная об Абракасасе, делать это уже нельзя. Не надо бояться и не надо считать запретным ничего, чего желает наша душа.

Я испуганно возразил:

– Но нельзя же делать все, что тебе заблагорассудится! Нельзя же убивать человека, потому что он противен тебе.

Он придвинулся поближе ко мне.

– При каких-то обстоятельствах можно и это. Только обычно это ошибка. Да я и не хочу сказать, что надо просто делать все, что вам придет в голову. Нет, но эти фантазии, в которых есть свой смысл, вы не должны делать вредными, отмахиваясь от них и морализируя по их поводу. Вместо того чтобы распинать на кресте себя или другого, можно с торжественными мыслями пить из чаши вино и представлять при этом таинство жертвоприношения. Можно и без таких действий относиться к своим порывам с уважением и любовью. Тогда они обнаружат свой смысл, а смысл в них во всех есть... Когда вам снова взбредет в голову что-нибудь совсем безумное и греховное, Синклер, если вы захотите убить кого-то или совершить какое-нибудь гигантское непотребство, подумайте на миг, что это в вас Абракасас так фантазирует! Человек, которого вы хотите убить, это же вовсе не господин такой-то, он, конечно, только его личина. Когда мы ненавидим кого-то, мы ненавидим в его образе то, что сидит в нас самих. То, чего нет в нас самих, нас не трогает.

Никогда Писториус не говорил ничего, что бы меня втайне так глубоко задело. Я не смог ответить. Но что меня больше всего взволновало и поразило, так это созвучие его совета со словами Демьяна, которые я долгие годы носил в себе. Они ничего не знали друг о друге, и оба сказали мне одно и то же.

– Вещи, которые мы видим, – тихо говорил Писториус, – это те же вещи, которые в нас. Нет реальности, кроме той, которую мы носим в себе. Большинство людей потому и живут такой нереальной жизнью, что они принимают за реальность внешние картины, а собственному внутреннему миру не дают слова сказать. При этом можно быть счастливым. Но если ты знаешь другое, у тебя уже нет выбора, ты уже не можешь идти путем большинства. Синклер, путь большинства легок, а наш труден... Поймите.

Несколько дней спустя, два раза напрасно прождав его, я встретил Писториуса поздно вечером на улице, когда он в одиночестве выплыл из-за угла, вынесенный холодным ночным ветром,

спотыкающийся, совсем пьяный. Я не стал его окликать. Он прошел мимо, не видя меня, уставясь вперед горящим, отчужденным взглядом, как бы повинуюсь какому-то темному зову из неизвестности. Я прошел вслед за ним одну улицу, он двигался так, будто его тянули за невидимую проволоку, исступленно и в то же время расслабленно, словно призрак. Я печально пошел домой к своим безвыходным снам.

«Вот как обновляет он мир в себе!» – подумал я и уже в тот же миг почувствовал, что подуманное мною низко и нравственно. Что я знал о его снах? В своем опьянении он шел, может быть, более верным путем, чем я в своей тоске.

На школьных переменах я иногда замечал, что моей близости ищет один одноклассник, на которого я обычно не обращал внимания. Это был невысокого роста, тщедушный, тощий юнец с рыжевато-светлыми, жидкими волосами и чем-то необычным во взгляде и поведении. Как-то вечером, когда я возвращался домой, он подстерег меня на улице, дал мне пройти мимо себя, затем побежал за мной и остановился перед нашей входной дверью.

– Тебе что-то от меня нужно? – спросил я.

– Мне хочется только как-нибудь поговорить с тобой, – сказал он робко. – Будь добр, пройдемся немного.

Я последовал за ним, чувствуя, что он глубоко взволнован и полон ожидания. Его руки дрожали.

– Ты спирт? – спросил он внезапно.

– Нет, Кнауэр, – сказал я со смехом. – Ничего похожего. Как это тебе пришло в голову?

– Но ты теософ?

– Тоже нет.

– Ах, не будь таким скрытным! Я же ясно чувствую, что в тебе есть что-то особенное. У тебя это в глазах. Я твердо уверен, что ты общаешься с духами... Я спрашиваю не из любопытства, Синклер, нет! Я сам в поисках, знаешь, и я очень одинок.

– Рассказывай! – подбодрил я его. – О духах я, правда, ничего не знаю, я живу в своих мечтах, ты это почувствовал. Другие люди тоже живут в мечтах, но не в собственных, вот в чем разница.

– Да, так, наверно, и есть, – прошептал он. – Все дело в том, какого они рода, мечты, в которых живешь... Ты уже слышал о белой магии?

Я должен был ответить отрицательно.

– Это когда учатся владеть собой. Можно стать бессмертным, да и волшебником сделаться. Ты никогда не проделывал таких упражнений?

В ответ на мое любопытство к этим упражнениям он сперва напустил на себя таинственность, но как только я повернулся, чтобы уйти, выложил:

– Например, когда я хочу уснуть или сосредоточиться, я проделываю такое упражнение. Я придумываю что-нибудь, например, какое-нибудь слово, или имя, или геометрическую фигуру. Ее я затем мысленно вбиваю в себя изо всех сил, пытаюсь представить себе ее у себя в голове, пока не почувствую, что она там. Потом я мысленно вбиваю ее себе в шею, и так далее, пока целиком не заполнюсь ею. И уж тогда я становлюсь совсем тверд, тогда ничто уже не может вывести меня из состояния покоя.

Я до некоторой степени понял, что он имеет в виду. Однако я чувствовал, что у него на сердце есть что-то еще, он был страшно взволнован и тороплив. Я постарался разговорить его, и вскоре он поделился истинной своей заботой.

– Ты ведь тоже воздерживаешься? – спросил он меня боязливо.

– Что ты имеешь в виду? Половые дела?

– Да, да. Я уже два года воздерживаюсь – с тех пор как узнал об этом учении. Прежде я предавался одному пороку, ты догадываешься... Ты, значит, никогда не был с женщиной?

– Нет, – сказал я, – не нашел подходящей.

– А если бы ты нашел такую, которую счел бы подходящей, ты бы спал с ней?

– Да, конечно... Если она не против, – сказал я чуть насмешливо.

– О, ты, значит, на ложном пути! Внутренние силы можно развить, только соблюдая полное воздержание. Я соблюдал его, целых два года. Два года и чуть больше месяца! Это так трудно! Иногда я еще выдерживаю.

– Знаешь, Кнауэр, я не думаю, что воздержание страшно важно.

– Я знаю, – не согласился он, – так все говорят. Но от тебя я этого не ожидал. Кто хочет идти высоким духовным путем, тот должен оставаться чистым, непременно!

– Ну, так и оставайся! Но я не понимаю, почему тот, кто подавляет в себе половое начало, «чище», чем кто-либо другой. Или тебе удастся исключить сексуальность также из всех мыслей и снов?

Он посмотрел на меня с отчаянием.

– Нет, то-то и оно! Боже мой, и все-таки это необходимо. Ночью мне снятся такие сны, которые я и себе-то самому не могу рассказать. Ужасные сны, знаешь!

Я вспомнил то, что мне говорил Писториус. Но и признавая всю справедливость его слов, я не мог передать их дальше, не мог дать совет, который из моего собственного опыта не вытекал и следовать которому я и сам еще не умел. Я умолк, чувствуя себя посрамленным тем, что вот кто-то обратился ко мне за советом, а я ему посоветовать ничего не могу.

– Я все перепробовал! – жаловался рядом со мной Кнауэр. – Я и холодной водой, и снегом, и гимнастику делал, и бегал – ничего не помогает. Каждую ночь я просыпаюсь от снов, о которых мне и думать нельзя. И самое ужасное – постепенно я теряю все знания, которые приобрел. Мне уже почти не удастся ни сосредоточиться, ни уснуть, я часто лежу без сна всю ночь напролет. Долго я так не выдерживаю. Когда я наконец прекращаю борьбу, сдаюсь и опять оскверняюсь, я становлюсь хуже всех прочих, которые вообще не боролись. Тебе ведь это понятно?

Я кивнул, но никаких слов не нашел. Он нагонял на меня скуку, и я испугался самого себя, оттого что его горе, его явное отчаяние не произвело на меня такого уж глубокого впечатления. Я чувствовал только: помочь я тебе не могу.

– Значит, ты ничего не можешь мне посоветовать? – сказал он наконец устало и грустно. – Ничего? Ведь должен же быть какой-то путь! Ты-то как с этим справляешься?

– Ничего не могу тебе сказать, Кнауэр. Тут друг другу помочь нельзя. Мне тоже никто не помогал. Ты должен сам вдуматься в себя, а потом поступать так, как того действительно требует твоя сущность. Ничего другого не может быть. Если ты не найдешь самого себя, то и никаких способов, думаю, не найдешь.

Внезапно умолкнув, этот паренек разочарованно взглянул на меня. Затем его взгляд загорелся внезапной ненавистью, он скорчил гримасу и злобно крикнул:

– Ах ты святоша! У тебя тоже есть свой порок, я знаю! Ты строишь из себя мудреца, а втайне погрязает в такой же мерзости, как я и все прочие! Ты свинья, такая же свинья, как я сам. Все мы свиньи!

Я ушел, оставив его на месте.

Он сделал два-три шага вслед за мной, затем отстал, повернулся и умчался прочь. Мне стало тошно от чувства сострадания и отвращения, и я не мог избавиться от этого чувства, пока не расставил дома у себя в камерке вокруг себя свои картинки и целиком не ушел в собственные видения. И тут сразу же мне снова привиделся сон о двери дома и гербе, о матери и незнакомке, и черты лица незнакомки предстали мне так донельзя отчетливо, что я уже в тот же вечер начал рисовать ее портрет.

Когда этот рисунок, набросанный во время таких наплывов мечтательности словно бы в забытьи, был через несколько дней готов, я повесил его вечером на стену, придвинул к нему настольную лампу и стал перед ним, как перед каким-то духом, с которым мне нужно бороться до решительного конца. Это было лицо, похожее на прежнее, похожее на моего друга Демиана, а некоторыми чертами похожее и на меня самого. Один глаз был заметно выше другого, взгляд уходил надо мной вдаль в своей отрешенной, дышавшей судьбой пристальности.

Я стоял перед рисунком, и от внутреннего напряжения грудь мою пробирал холод. Я вопрошал портрет, обвинял его, ласкал его, молился ему; я называл его матерью, называл любимой, называл шлюхой и девкой, называл Абраксамом. При этом мне приходили на ум слова Писториуса

– или Демьяна? Я не мог вспомнить, когда они были сказаны, но мне казалось, что я слышу их снова. Это были слова о борьбе Иакова с ангелом Бога и фраза «Не отпущу Тебя, пока не благоговещешь меня».

Освещенное лампой лицо преображалось от каждого моего зова. Оно светлело и начинало светиться, чернело и мрачнело, смыкало мертвенные веки над погасшими глазами, вновь раскрывало их и сверкало жаркими взглядами, было женщиной, было мужчиной, было девушкой, было ребенком, было животным, расплывалось пятном, снова становилось большим и отчетливым. Под конец, повинувшись могучему внутреннему голосу, я закрыл глаза и увидел этот портрет внутри себя, в нем было еще больше силы и мощи. Я хотел упасть перед ним на колени, но он был настолько внутри меня, что я уже не мог отделить его от себя, он словно бы стал мною.

Тут я услышал глухой, тяжелый шум, как при весенней буре, и затрепетал от неопишуемого чувства страха и великого события. Звезды мерцали передо мной и гасли, воспоминания, уносясь к первой, самой забытой поре детства и еще дальше, к прабытию, к первым ступеням моего становления, теснясь, пронеслись мимо меня. Но эти воспоминания, повторявшие, казалось мне, всю мою жизнь до самых сокровенных тайн, не останавливались на вчерашнем и сегодняшнем дне, они шли дальше, отражали будущее, отрывали от меня нынешнего, уносили к новым формам жизни, картины которых были невероятно ярки и ослепительны, хотя позднее я ни одной из них не мог по-настоящему вспомнить.

Ночью я проснулся после глубокого сна, я был в одежде и лежал поперек кровати. Я зажег свет, чувствуя, что должен вспомнить что-то важное, но совсем забыв предшествующие сну часы. Я зажег свет, память постепенно заработала. Я стал искать портрет, на стене он уже не висел, на столе его тоже не оказалось. Тут мне смутно подумалось, что я его сжег. Или это мне померещилось, что я сжег его у себя в ладонях и съел пепел?

Великое, судорожное беспокойство погнало меня куда-то. Я надел шляпу, прошел через дом и улицу, как по чьему-то велению, я бежал по улицам и площадям, словно меня нес вихрь, я прислушивался перед темной церковью моего друга, я искал и искал чего-то в темном порыве, чего – и сам не знал. Я прошел через предместье, где располагались дома терпимости, там кое-где еще горел свет. Дальше начинались стройки и лежали груды кирпича, отчасти присыпанные серым снегом. Когда меня, как сомнамбулу, что-то гнало по этой пустыне, мне вспомнилась та стройка в моем родном городе, куда мой мучитель Кромер затащил меня когда-то для нашего первого с ним расчета. Здесь передо мной стояло в серой ночи похожее здание, зияя черным дверным проемом. Оно тянуло меня внутрь, я уклонялся, спотыкаясь в песке и мусоре; тяга оказалась сильнее, мне пришлось войти.

Через доски и битый кирпич я пробрался внутрь, в это запустение с унылым запахом сырого холода и камней.

Тут меня окликнул чей-то полный ужаса голос:

– Боже мой, Синклер, откуда ты взялся?

И рядом со мной из темноты, как призрак, возник какой-то человек, какой-то худой паренек, и прежде чем опали мои вставшие дыбом волосы, я узнал своего школьного товарища Кнауэра.

– Как ты попал сюда? – спросил он, совсем обезумев от волнения. – Как смог ты найти меня?

Я не понял.

– Я не искал тебя, – сказал я оцепенело; каждое слово давалось мне с трудом и тяжело слетало с моих мертвых, тяжелых, словно замерзших, губ.

Он вытаращил на меня глаза.

– Не искал?

– Нет. Меня потянуло сюда. Ты меня звал? Наверно, ты звал меня. Что ты здесь делаешь? Сейчас ведь ночь.

Он судорожно обнял меня своими тонкими руками.

– Да, ночь. Скоро, наверно, утро. О Синклер, подумать только, ты не забыл меня! Можешь простить меня?

– За что?

– Ах, я ведь был так отвратителен!

Только теперь мне вспомнился наш разговор. Неужели это было четыре или пять дней назад? Мне казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Но теперь я вдруг понял все. Не только то, что произошло между нами, но и почему я пришел сюда и что собирался сделать здесь Кнауэр.

– Ты, значит, хотел покончить с собой, Кнауэр?

Он дрожал от холода и страха.

– Да, хотел. Не знаю, сумел ли бы. Я хотел дождаться утра.

Я вытащил его на воздух. Первые горизонтальные полосы зари рдели в сером воздухе невыразимо холодно и безрадостно. Я повел его под руку. Из меня вылетали слова:

– Теперь ты пойдешь домой и никому ничего не скажешь! Ты пошел неверным путем, неверным путем! И мы не свиньи, как ты думаешь. Мы люди. Мы творим богов и боремся с ними, и они благословляют нас.

Мы молча прошли дальше и разошлись. Когда я пришел домой, было уже светло.

Самым лучшим из того, что мне еще подарило то время в Шт., были часы с Писториусом у органа или перед огнем камина. Мы вместе читали один греческий текст об Абраксасе, он читал мне отрывки из перевода Вед и учил меня произносить священное «ом». Внутренне, однако, двигала меня вперед не эта ученость, а скорее ее противоположность. Благотворны были для меня продвижение к себе самому, растущее доверие к собственным своим снам, мыслям, догадкам и растущее знание о силе, которую я носил в себе.

С Писториусом я объяснялся всякими способами. Стоило мне только хорошенько подумать о нем, как я мог быть уверен, что он или привет от него не замедлит прийти. Так же, как Демиана, я мог спросить его о чем-нибудь и в его отсутствие: мне достаточно было только твердо представить себе его и обратиться к нему в виде сгустка мыслей свои вопросы. Тогда вся вложенная в вопрос духовная сила возвращалась в меня в виде ответа. Только представлял я себе не лично Писториуса и не лично Макса Демиана, а вызывал примерещившийся мне и запечатленный мной образ, мужеско-женское видение моего демона. Он жил теперь уже не в моих снах и не в виде изображения на бумаге, а во мне, как картина желаемого, как более высокая степень меня самого.

Своеобразным и порой смешным было положение, в каком оказался по отношению ко мне незадачливый самоубийца Кнауэр. С той ночи, когда я был послан ему, он привязался ко мне как верный слуга или пес, старался подчинить свою жизнь моей и слепо за мной следовал. Он приходил ко мне с самыми дикими вопросами и желаниями, хотел увидеть духов, хотел изучить каббалу и не верил мне, когда я уверял его, что ничего во всех этих вещах не смыслу. Он не сомневался в моем беспредельном могуществе. Но странно было то, что со своими дикими и глупыми вопросами он часто приходил ко мне именно тогда, когда требовалось развязать какой-то узел во мне, и то, что его причудливые идеи и просьбы часто подводили, подталкивали меня к решению этой задачи. Часто он докучал мне и бывал прогнан прочь, но все-таки я чувствовал: и он был послан мне, и от него возвращалось в меня то, что я давал ему, в двойном размере, и он был для меня во-жатым или, во всяком случае, путем. Безумные книги и сочинения, которые он мне приносил и в которых искал для себя блага, учили меня больше, чем я в тот миг понимал.

Этот Кнауэр позднее не приметно исчез с моей дороги. С ним никаких объяснений не требовалось. Чего нельзя сказать о Писториусе. С этим другом я к концу своего учения в Шт. приобрел еще некий особый опыт.

И самому невинному человеку случается раз-другой в жизни вступать в конфликт с такими прекрасными добродетелями, как почтительность и благодарность. Каждому суждено сделать когда-то шаг, отделяющий его от его отца, от его учителей, каждому суждено как-то почувствовать суровость одиночества, хотя большинство людей не выносит ее и вскоре снова прячется за чью-то спину... От своих родителей, от их мира я не оторвался в жестокой борьбе, а отдалялся и отчуждался от них медленно и почти незаметно. Я сожалел об этом, это часто доставляло мне горькие часы при поездках на родину; но до самого сердца это не доходило, выдержать это можно было.

Но там, где мы выказывали любовь и уважение не по привычке, а по собственной воле, там, где мы были учениками и друзьями по зову сердца, там горек и ужасен тот миг, когда мы вдруг догадываемся, что главная струя нашего естества хочет увести нас от того, кого мы любили. Тогда каждая мысль, отвергающая прежнего друга и учителя, направляет свое ядовитое жало в наше

собственное сердце, тогда каждый наш оборонительный удар попадает нам же в лицо. Тогда на ум тому, кто не сомневался в своей нравственности, приходят, клеймя его позором, слова «вероломство» и «неблагодарность», тогда испуганная душа боязливо бежит назад, в милые доли добродетелей детства, и никак не может поверить, что и этот разлом должен произойти, что и эта связь должна быть оборвана.

Мало-помалу какое-то чувство во мне восстало против того, чтобы обязательно признавать руководство за моим другом Писториусом. Дружба с ним, его советы, его утешения, его близость были событиями важнейших месяцев моей юности. Через него со мной говорил Бог. Из его уст мои сны возвращались ко мне проясненными, истолкованными. Он даровал мне мужество быть самим собой... И вот я, увы, ощутил в себе медленно нарастающее сопротивление Писториусу. Я слышал слишком много поучений в его словах, я чувствовал, что он вполне понимает лишь какую-то часть меня.

Никаких споров, никаких сцен, никакого разрыва, даже никакого сведения счетов с ним не было. Я сказал ему только одно-единственное, безобидное, в сущности, слово – но это как раз и был тот миг, когда некая иллюзия рассыпалась между нами цветными осколками.

Такое предчувствие угнетало меня уже некоторое время, но отчетливым чувством оно стало однажды в воскресенье в его старинном кабинете ученого. Мы лежали на полу перед огнем, и он говорил о таинствах и религиях, которые изучал, о которых думал, возможное будущее которых его занимало. А мне все это казалось больше любопытным и занятным, чем жизненно важным, мне слышалась тут ученость, слышалось усталое копанье в развалинах прежних миров. И вдруг меня охватило отвращение ко всей этой манере, к этому культу мифологий, к этой игре, к этой мозаике из верочений, известных нам по преданиям.

– Писториус, – сказал я вдруг с какой-то испугавшей меня самого неожиданно вырвавшейся злостью, – рассказали бы вы мне лучше опять какой-нибудь сон, подлинный сон, который приснился вам ночью. То, что вы сейчас говорите, это... это чертовски антикварно!

Ничего подобного он никогда от меня не слышал, и я сам в тот же миг со стыдом и страхом почувствовал, что стрела, пущенная мною в него и попавшая ему в сердце, взята из его собственного арсенала, что я сейчас насмешливо, в более острой форме упрекнул его в том же, в чем он при мне сам иногда упрекал себя ироническим тоном.

Он мгновенно это уловил и сразу умолк. Я посмотрел на него со страхом в сердце и увидел, как он страшно бледнеет.

После долгой тяжелой паузы он подложил дров в огонь и тихо сказал:

– Вы совершенно правы, Синклер, вы умный мальчик. Я избавлю вас от антикварщины.

У меня навернулись слезы, я хотел сказать ему что-то сердечное, попросить у него прощения, заверить его в своей любви, в своей искренней благодарности. Мне приходили на ум трогательные слова – но выговорить их я не мог. Я продолжал лежать, глядел в огонь и молчал. И он тоже молчал, и вот так мы лежали, и огонь догорал и опадал, и с каждым выстрелом пламени я чувствовал, как потухает и улетает что-то прекрасное и глубокое, что не может вернуться.

– Боюсь, вы поняли меня неверно, – сказал я наконец очень сдавленным, сухим, хриплым голосом. Эти глупые, бессмысленные слова слетели с языка машинально, словно я прочел вслух какую-то фразу из какого-то газетного романа.

– Я понял вас совершенно верно, – тихо сказал Писториус. – Вы ведь правы. – Он подождал. Затем медленно добавил: – Насколько вообще кто-то может быть прав перед другим.

Нет, нет, кричало во мне, я не прав! – но сказать я ничего не смог. Я знал, что единственным своим словом указал ему на очень существенную слабость, на его рану и беду. Я коснулся того пункта, в котором он сам себе не мог доверять. Его идеал был «антикварен», в своих исканиях он смотрел назад, он был романтик. И вдруг я глубоко почувствовал: именно тем, чем Писториус был для меня, он не мог быть для самого себя, именно того, что он дал мне, он не мог дать себе самому. Он повел меня по пути, который и его, ведущего, должен был обогнать и покинуть.

Бог вещь, как возникает такое слово! Я вовсе не хотел сказать ничего плохого, никакого предчувствия катастрофы у меня не было. Я произнес что-то, чего в тот миг, когда это произошло, сам не знал, я поддался маленькой, немножко юмористической, немножко ехидной прихоти, и

из этого вышла судьба.

О, как мне хотелось тогда, чтобы он рассердился, стал защищаться, накричал на меня! Ничего подобного не случилось, все это должен был проделать в душе я сам. Он усмехнулся бы, если бы смог. То, что он не смог улыбнуться, яснее всего показало мне, как глубоко я его задел.

И тем, что Писториус так безропотно принял удар от меня, своего наглого и неблагодарного ученика, тем, что он промолчал и признал мою правоту, он сделал меня ненавистным себе самому, сделал мою неосторожность в тысячу раз большей. Нанося удар, я метил в человека сильного, оборонноспособного, а оказался передо мной тихий, страдающий, беззащитный человек, который молча сдался.

Долго лежали мы перед угасавшим пламенем, где каждая огненная фигура, каждая скрюченная головешка вызывали у меня в памяти счастливые, прекрасные, богатые часы и все больше умножали мой долг, мою вину перед Писториусом. Наконец я не выдержал. Я встал и ушел. Я долго стоял перед его дверью, долго – на темной лестнице, долго еще – на улице перед домом, ожидая, что вдруг он выйдет за мной. Затем я пошел дальше и много часов бродил по городу и предместьям, по парку и лесу, до самого вечера. И тогда я впервые почувствовал Каинову печать у себя на лбу.

Задумываться я начал лишь постепенно. Все мои мысли стремились обвинить меня и защитить Писториуса. И все кончались противоположным. Тысячи раз я был готов пожалеть о своем опрометчивом слове и взять его обратно – но правдой оно все-таки было. Лишь теперь удалось мне понять Писториуса, выстроить перед собой всю его мечту. Мечта эта была – стать проповедником, провозгласить новую религию, дать новые формы возвышения, любви и поклонения, воздвигнуть новые символы. Но не такова была его сила, не такова его должность. Он слишком уютно устроился в прошлом, слишком хорошо разбирался в минувшем, слишком много знал о Египте, об Индии, о Митре, об Абраксасе. Его любовь была привязана к картинам, которые земля уже видела, а в глубине души он, наверно, сам знал, что новое должно быть новым и другим, что оно бьет ключом из свежей почвы, а не черпается из коллекций и библиотек. Должность его состояла, возможно, в том, чтобы помогать людям, ведя их к самим себе, как это он сделал со мной. Но не в том, чтобы давать им неслыханное, давать новых богов.

И тут меня вдруг обожгло озарение – для каждого есть своя «должность», но ни для кого нет такой, которую он мог бы сам выбрать, описать и исполнять, как ему вздумается. Неверно желать новых богов, совершенно неверно желать что-то дать миру! Никакой, никакой, никакой обязанности не существует для пробудившихся людей, кроме одной: искать себя, укрепляться внутри себя, нащупывать свой собственный путь вперед, куда бы он ни привел... Это глубоко потрясло меня, и таков был для меня итог пережитого. Прежде я часто играл с образами будущего, мечтал о ролях, которые могли быть уготовлены мне, – поэта, может быть, или пророка, или мага, или еще кого-нибудь. Все это был вздор. Я не для того пришел в мир, чтобы сочинять стихи, чтобы проповедовать, чтобы писать картины, ни я, ни кто-либо другой не приходил в мир для этого. Все получалось лишь попутно. Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе. Кем бы он под конец ни стал – поэтом, безумцем или пророком, – это не его дело и в конечном счете неважно. Его дело – найти собственную, а не любую судьбу, и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо. Все прочее – это половинчатость, это попытка улизнуть, это уход назад, в идеалы толпы, это приспособленчество и страх перед собственной сутью. Во всей своей ужасности и священности вставала передо мной эта новая картина, о которой я не раз догадывался, которую, может быть, часто уже облакал в слова, но которую действительно увидел только теперь. Я – это бросок природы, бросок в неизвестность, может быть, в новое, может быть, в никуда, и сделать этот бросок из бездны действенным, почувствовать в себе его волю и полностью претворить ее в собственную – только в этом мое призвание. Только в этом!

Много одиночества я уже вкусил. Теперь я почувствовал, что есть более глубокое одиночество и что оно неизбежно.

Я не пытался умиротворить Писториуса. Мы остались друзьями, но отношения изменились. Лишь один-единственный раз мы говорили об этом, вернее, говорил только он. Он сказал:

– У меня есть желание стать священнослужителем, вы это знаете. Больше всего мне хотелось

стать служителем той новой религии, которую мы предчувствуем. Я не смогу им стать – я это знаю и знал, полностью не признаваясь в этом себе, уже давно. Совершать я буду другие священнодействия, может быть, на органе, может быть, еще как-нибудь. Но я всегда должен быть окружен чем-то, что в моем ощущении прекрасно и священно: органная музыка и таинство, символ и миф – мне это нужно, и я от этого не отступлюсь. В этом моя слабость. Было бы выше, было бы правильнее просто отдаться на волю судьбы без всяких притязаний. Но я так не могу; это – единственное, чего я не могу сделать. Может быть, вы когда-нибудь сможете. Это трудно, это единственная на свете действительно трудная вещь, мой мальчик. Я часто об этом мечтал, но я не могу быть таким нагим и одиноким, я тоже бедная жалкая тварь, которой нужно немного тепла и пищи, а иногда и почувствовать близость себе подобных. Кто действительно не хочет ничего, кроме своей судьбы, тому подобных нет, тот совершенно один, и вокруг него только холодное космическое пространство. Это, знаете ли, Иисус в Гефсиманском саду. Бывали на свете мученики, которые с радостью шли на крест, но даже они не были героями, не были освобождены, даже они хотели чего-то привычного им и родного, у них были образцы, у них были идеалы. Кто хочет только судьбы, у того уже нет ни образцов, ни идеалов, ничего дорогого, ничего утешительного у него нет. И этим путем надо было бы, в сущности, идти. Такие люди, как я и вы довольно одиноки, но у каждого из нас есть еще другой, у нас есть тайное удовлетворение, оттого что мы иные, что восстаем, что хотим необыкновенного. Это тоже должно отпасть, если человек хочет пройти весь путь целиком. Он еще и не должен хотеть быть революционером, быть образцом, быть мучеником. Это и представить себе нельзя...

Да, представить это себе нельзя было. Но можно было об этом мечтать, это предчувствовать, об этом догадываться. Иной раз, когда выпадали совсем тихие часы, я что-то из этого ощущал. Тогда я заглядывал в себя и глядел своей судьбе в открытые настежь глаза. Они могли быть полны мудрости, они могли быть полны безумия, они могли излучать любовь или глубокую злобу, это не имело значения. Ничего из этого нельзя было выбирать, ничего нельзя было хотеть. Хотеть можно было только себя, только своей судьбы. На каком-то отрезке пути туда Писториус послужил мне вожатым.

В те дни я метался как слепой, во мне бушевала буря, каждый шаг был опасностью. Я не видел впереди ничего, кроме бездонного мрака, в котором терялись и тонули все пути, какими я шел до сих пор. И в душе я видел образ вожатого, он был похож на Демиана, и в глазах его читалась моя судьба.

Я написал на листке бумаги: «Вожатый покинул меня. Я в потемках. Я не могу сделать ни шагу один. Помогите мне!»

Я хотел послать это Демиану. Но не послал; каждый раз, когда я хотел так поступить, это казалось пошлым и нелепым. Но свою маленькую молитву я запомнил наизусть и часто твердил ее про себя. Она сопровождала меня постоянно. Я начал догадываться, что такое молитва.

Мое учение в школе кончилось. На каникулах мне надо было совершить путешествие, как то задумал отец, а потом надо было поступить в университет. На какой факультет, я не знал. Мне разрешили заниматься один семестр философией. Все другое меня бы тоже устроило.

Глава седьмая **Госпожа Ева**

На каникулах я однажды подошел к дому, где несколько лет назад жил Макс Демиан с матерью. В саду гуляла старуха, я заговорил с ней и узнал, что дом принадлежит ей. Я спросил о семье Демиан. Она хорошо ее помнила. Однако не знала, где они живут теперь. Заметив мой интерес, она повела меня в дом, достала кожаный альбом и показала мне фотографию матери Демиана. Я не помнил ее. Но когда я взглянул на маленький портрет, сердце у меня замерло... Это было мое видение! Это была она, высокого, почти мужского роста женщина, похожая на своего сына, в лице которой было что-то материнское, что-то строгое, что-то глубоко страстное, красивая и соблазнительная, красивая и неприступная, демон и мать, судьба и возлюбленная. Это была она!

Меня словно громом поразило, когда я узнал, что мое видение живет на земле! Существовала женщина, обладавшая такой внешностью, носившая черты моей судьбы! Где она? Где?.. И она мать Демиана.

Вскоре после этого я отправился в свое путешествие. Странное путешествие! Я без передышки переезжал из одного места в другое, как вздумается, всё в поисках этой женщины. Бывали дни, когда я встречал сплошь фигуры, которые напоминали ее, ходили на нее и заманивали меня в улицы чужих городов, в вокзалы, в поезда, как в запутанных снах. Бывали другие дни, когда я понимал, как бесполезны мои поиски; тогда я бездеятельно сидел где-нибудь в парке, в гостиничном саду, в зале ожидания и, взглядываясь в себя, пытался оживить в себе этот образ. Но он стал теперь робким и мимолетным. Я потерял сон, только в поездах, проезжая через незнакомые места, я, случалось, задремывал минут на пятнадцать. Однажды в Цюрихе ко мне привязалась какая-то женщина, смазливая, нагловатая бабенка. Я старался не смотреть на нее и пошел дальше, словно ее вообще не было. Скорей бы я умер на месте, чем хотя бы на час уделил внимание другой женщине.

Я чувствовал, что моя судьба тянет меня, что свершение близко, и сходил с ума от нетерпения, от неспособности что-то предпринять. Однажды на вокзале, кажется, это было в Инсбруке, я увидел в окне отходящего поезда фигуру, напомнившую мне ее, и был несчастен несколько дней. И вдруг фигура эта снова явилась мне ночью во сне, я проснулся с постыдным и удручающим чувством бессмысленности моей погони и поехал прямым путем назад, домой.

Через несколько дней я был зачислен в Г-ский университет. Все разочаровало меня. Курс по истории философии, который я слушал, был так же бессодержателен и банален, как поведение юнцов-студентов. Все делалось по шаблону, один подражал другому, и веселое возбуждение на мальчишеских лицах выглядело огорчительно пустым и напускным. Но я был свободен, весь мой день принадлежал мне, я жил тихо и славно в старых каменных стенах предместья, и на столе у меня лежало несколько томиков Ницше. С ним я и жил, чувствуя одиночество его души, догадываясь о судьбе, которая безостановочно двигала им, страдал с ним и был счастлив, что существовал человек, который так непреклонно шел своим путем.

Как-то поздно вечером я слонялся по городу при осеннем ветре, слушая, как поют в кабачках студенческие товарищества. Из открытых окон вылетали клубы табачного дыма и мощным потоком несло пенье, громкое и стройное, но бескрылое и безжизненно-однозвучное.

Я стоял на углу и слушал, из двух пивных лилось в ночь добросовестно зауценное веселье молодости. Везде совместность, везде скученность, везде отлынивание от судьбы и бегство в теплую стадность!

Сзади меня медленно прошли двое. Я услышал отрывок из их разговора.

– Разве это не похоже на сборище мужской молодежи в какой-нибудь негритянской деревне? – сказал один из них. – Всё точь-в-точь, даже татуировка еще в моде. Вот вам молодая Европа.

Голос звучал поразительно знакомо, кого-то напоминая. Я пошел за обоими в темную улицу. Один был японец, маленький и изящный, я увидел, как блеснуло под фонарем его желтое улыбающееся лицо.

Другой заговорил снова.

– Впрочем, у вас в Японии тоже будет не лучше. Люди, которые не бегут за стадом, везде редки. Есть такие и здесь.

От каждого слова меня пробирал радостный ужас. Я знал говорившего: это был Демиан.

Сквозь ветреную ночь я следовал за ним и японцем по темным улицам, слушал их разговоры и наслаждался звучанием Демианова голоса. У него была прежняя интонация, в нем были прежние, прекрасные уверенность и спокойствие, и у него была власть надо мной. Теперь все было хорошо. Я нашел его.

В конце одной из улиц предместья японец попрощался и отпер входную дверь. Демиан пошел обратно, я остановился и стал ждать его посреди улицы. С бьющимся сердцем смотрел я, как он идет ко мне прямой, упругой походкой, в коричневом прорезиненном плаще, с висящей у локтя тросточкой. Он подошел ко мне, не ускоряя своего равномерного шага, снял шляпу и показал мне

свое прежнее светлое лицо с решительным ртом и особым свечением широкого лба.

– Демиан! – воскликнул я.

Он протянул мне руку.

– Значит, ты здесь, Синклер! Я ждал тебя.

– Ты знал, что я здесь?

– Не то чтобы знал, но надеялся безусловно. Увидел я тебя только сегодня вечером, ты же все время шел за нами.

– Значит, ты сразу узнал меня?

– Конечно. Ты, правда, изменился. Но ведь печать на тебе есть.

– Печать? Что за печать?

– Мы называли ее раньше Каиновой печатью, если ты еще помнишь. Это наша печать. На тебе она всегда была, потому я и стал твоим другом. Но теперь она стала яснее.

– Я этого не знал. Или все-таки знал. Я как-то нарисовал твой портрет, Демиан, и удивился, что он похож и на меня. Это из-за печати?

– Конечно. Хорошо, что ты здесь! Моя мать тоже обрадуется.

Я испугался.

– Твоя мать? Она здесь? Она же совсем не знает меня.

– О, она наслышана о тебе. Она узнает тебя, даже если я не скажу, кто ты... Ты долго не давал знать о себе.

– О, мне часто хотелось написать тебе, но не получалось. С некоторых пор я чувствовал, что скоро найду тебя. Я ждал этого каждый день.

Он взял меня под руку и пошел со мной. От него исходил покой, который переходил в меня. Вскоре мы болтали как прежде. Мы вспоминали школьную пору, занятия для confirmandов, даже ту неудачную встречу на каникулах – только о самой ранней и тесной связи между нами, об истории с Францем Кромером, не упоминалось и теперь.

Незаметно мы втянулись в странный и пророческий разговор. Как бы в продолжение беседы Демиана с японцем мы поговорили о студенческой жизни, а от этой темы перешли к другой, казалось, далекой от нее; но в словах Демиана все связалось воедино.

Он говорил о духе Европы и о примете этой эпохи. Повсюду, сказал он, царят сплоченность и стадность, но не свобода и не любовь. Вся эта объединенность, от студенческой корпорации, от певческого кружка до государств, вынужденна, вызвана страхом, робостью, растерянностью, внутри она прогнила, устарела, близка к распаду.

– Единство, – сказал Демиан, – прекрасная вещь. Но то, что цветет сейчас пышным цветом, вовсе не единство. Оно возникнет заново, возникнет из знания друг о друге отдельных людей и на какое-то время преобразует мир. Сейчас единство сводится к стадности. Люди бегут друг к другу, потому что боятся друг друга, – господа к господам, рабочие к рабочим, ученые к ученым! А почему они боятся? Боятся только тот, у кого нет согласия с самим собой. Они боятся, потому что никогда не признавали самих себя. Это единство сплошь тех, кто боится неведомого в себе самом! Они все чувствуют, что законы их жизни уже неверны, что они живут по старым скрижалям, что ни их религии, ни их нравственность – ничто не соответствует тому, что нам нужно. Сто и больше лет Европа только изучала науки и строила фабрики! Они точно знают, сколько граммов пороха нужно, чтобы убить человека, но они не знают, как молиться Богу, не знают даже, как повеселиться хотя бы час. Посмотри на такой студенческий кабачок! Или на увеселительное заведение, куда приходят богатые! Безнадежно!.. Дорогой Синклер, из всего этого ничего радостного не может выйти. Эти люди, которые так боязливо объединяются, полны страха и полны злобы, ни один не доверяет другому. Они цепляются за идеалы, переставшие быть таковыми, и побьют камнями всякого, кто провозгласит какой-нибудь новый идеал. Я чувствую, что будут столкновения. Они начнутся, поверь мне, они скоро начнутся! Конечно, они не «улучшат» мир. Убьют ли рабочие своих фабрикантов, будут ли Россия и Германия стрелять друг в друга – поменяются только собственники. Но все-таки это будет не напрасно. Это покажет негодность нынешних идеалов, сметет богов каменного века. Этот мир в его теперешнем виде хочет умереть, хочет погибнуть, и так и будет.

– А что станет при этом с нами? – спросил я.

– С нами? О, может быть, мы тоже погибнем. Убить можно ведь и нашего брата. Только с нами так не покончить. Вокруг того, что от нас останется, или вокруг тех из нас, кто выживет, сосредоточится воля будущего. Проявится воля человечества, которую перекрикивала своей ярмаркой техники и науки наша Европа. И тогда окажется, что воля человечества ни в чем не совпадает с волей нынешних объединений, волей государств и народов, кружков и церквей. Нет, то, чего хочет от человека природа, записано в отдельных людях, в тебе и мне. Это было записано в Иисусе, было записано в Ницше. Для этих единственно важных течений – которые, конечно, каждый день могут видоизменяться, – найдется место, когда нынешние объединения рухнут.

Было поздно, когда мы остановились перед каким-то садом у реки.

– Здесь мы живем, – сказал Демриан. – Приходи к нам! Мы очень ждем тебя.

Радостно шел я сквозь ночь, которая стала прохладной, к своему дому. По всему городу шумели и, пошатываясь, расходились студенты. Я часто замечал несходство между их смешной веселостью и моей одинокой жизнью, то с чувством своей обделенности, то с иронией. Но никогда еще не чувствовал я так, как сегодня, спокойно и с тайной силой, сколь мало это меня касается, сколь далек от меня этот мир, до чего он мне чужд. Я вспоминал чиновников своего родного города, старых, почтенных людей, которые носились с воспоминаниями о своих забулдыжных семестрах как с памятью о райском блаженстве и превозносили ушедшую «вольность» своих студенческих лет примерно так же, как поэты или другие романтики боготворят детство. Везде одно и то же! Везде искали они «вольность» и «счастье» где-то позади – только от страха, что им могут напомнить об их собственной ответственности и призвать их идти собственным путем. Несколько лет пили и веселились, а потом поджали хвост и стали серьезными деятелями на государственной службе. Да, дела наши никуда, никуда не годились, и эта студенческая глупость была менее глупой и менее скверной, чем сотни других.

Когда я, однако, добрался до своего далекого дома и лег в постель, все эти мысли рассеялись, и все мои помыслы ожидающе сосредоточились на великом обещании, которое дал мне минувший день. Как только я захочу, хоть завтра, я увижу мать Демриана. Пусть студенты бражничают, пусть мир никуда не годится и ждет своей гибели – какое мне до этого дело? Я жду лишь одного – что моя судьба выйдет мне навстречу в новом облике.

Я крепко спал до позднего утра. Новый день наступил для меня как праздник, таких торжественных дней не было у меня с рождественских праздников моего детства. Я был полон внутреннего беспокойства, но никакого страха не испытывал. Я чувствовал, что наступил важный для меня день, я видел и ощущал мир вокруг себя преображенным, ожидающим, полным значений, торжественным, даже накрапывавший осенний дождь был прекрасен, тих и по-праздничному полон серьезно-радостной музыки. Впервые внешний мир звучал в лад моему внутреннему миру – а тогда наступает праздник души, тогда стоит жить. Ни один дом, ни одна витрина, ни одно лицо на улице мне не мешали, все было так, как оно должно быть, но не носило пустого облика обыденности и привычности, а было ожидающей природой, с благоговейной готовностью принимало свою судьбу. Так видел я мир ребенком в утро большого праздника, Рождества или Пасхи. Я не знал, что этот мир может быть еще так прекрасен. Я привык жить собой и мириться с тем, что вкус ко всему внешнему у меня пропал, что утрата блестящих красок неизбежна с утратой детства и что за свободу и мужество души надо как бы платить отказом от этого прелестного блеска. Теперь я с восхищением увидел, что все это было только засыпано и затемнено и что обретший свободу и отказавшийся от детского счастья тоже может видеть сияние мира и с трепетом глядеть на него глазами ребенка.

Наступил час, когда я снова нашел тот сад в предместье, где простился с Демрианом прошедшей ночью. За высокими, серыми от дождя деревьями скрывался небольшой дом, светлый и уютный, с высокими кустами цветов за большой стеклянной стеной, с темными стенами комнат, с картинами и рядами книг за блестящими окнами. Входная дверь вела прямо в обогретое зальце, молчаливая старая служанка, черная, в белом переднике, впустила меня и сняла с меня плащ.

Она оставила меня в зальце одного. Я огляделся и сразу же окунулся в свои видения. Вверху, на темной деревянной стене, над дверью, висела застекленная, в черной раме, хорошо знакомая

мне картина, моя птица с золотисто-желтой ястребиной головой, выбирающаяся из скорлупы мира. Пораженный, я остановился на месте – на сердце у меня стало так радостно и так тяжело, словно всё, что я когда-либо делал или испытывал, вернулось ко мне в этот миг как ответ и исполнение желаний. С быстротой молнии промелькнуло у меня в душе множество картин – я увидел родной отцовский дом со старинным каменным гербом над аркой, мальчика Демиана, рисующего этот герб, себя самого мальчиком, попавшим в паутину своего врага Кромера, себя самого подростком, чья душа запуталась в сети собственных нитей, рисующим в тишине школьной каморки птицу моей тоски, – и всё, и всё вплоть до этого мига снова зазвучало во мне, получило во мне подтверждение, ответ, одобрение.

Увлажнившимися глазами смотрел я на эту картину и читал у себя в душе. Но вдруг мой взгляд опустился: под картиной в открытых дверях стояла рослая женщина в темном платье. То была она.

Я не мог выговорить ни слова. Эта красивая, почтенная женщина, чье лицо, подобно лицу ее сына, было лишено примет времени и возраста и полно одухотворенной воли, приветливо улыбнулась мне. Ее взгляд был исполнением желаний, ее приветствие означало возвращение домой. Я молча протянул ей руки. Она схватила обе твердыми, теплыми руками.

– Вы Синклер. Я вас сразу узнала. Добро пожаловать!

Голос у нее был низкий и теплый, я пил его как сладкое вино. И тут я взглянул вверх, посмотрел в ее тихое лицо, в черные загадочные глаза, на свободный, царственный лоб, отмеченный той печатью.

– Как я рад! – сказал я ей и поцеловал ее руки. – Мне кажется, я всю жизнь был в пути – и вот я пришел домой.

Она улыбнулась по-матерински.

– Прийти домой не дано, – сказала она приветливо. – Но там, где дружественные пути сходятся, весь мир на какой-то час уподобляется дому.

Она высказала то, что я чувствовал на пути к ней. Ее голос, да и ее слова походили на голос и слова сына, и все-таки были совсем другими. Все было более зрелым, более теплым, более естественным. Но так же, как Макс когда-то ни на кого не производил впечатления мальчика, так и мать его совсем не походила на мать взрослого сына, так много молодого и милого было в дыхании ее лица и волос, такой тугой и гладкой была ее золотистая кожа, таким цветущим был ее рот. Еще царственнее, чем в моих видениях, стояла она передо мной, и ее близость была счастьем любви, ее взгляд был исполнением желаний.

Такой, значит, был новый облик, в котором мне предстала моя судьба, от нее веяло уже не суровостью, не одиночеством, а зрелостью и радостью! Я не принимал никаких решений, не давал никаких обетов – я достиг цели, достиг на своем пути такой возвышенности, откуда далеко и величественно открылся дальнейший путь, устремленный к обетованным землям, осененный кронами близкого счастья, освеженный близкими садами всяческих радостей. Что бы со мной ни случилось, я был счастлив знать, что в мире есть эта женщина, счастлив пить ее голос и дышать ее близостью. Пусть будет мне кем угодно – матерью, возлюбленной, богиней, – только бы была, только бы мой путь был близок ее пути!

Она указала на мою картину с ястребом.

– Ничем не могли вы обрадовать нашего Макса больше, чем этой картиной, – сказала она задумчиво. – И меня тоже. Мы ждали вас и, когда пришла картина, поняли, что вы находитесь на пути к нам. Когда вы еще были маленьким мальчиком, Синклер, мой сын как-то, придя из школы, сказал: «Есть у нас один мальчик с печатью на лбу, он должен стать моим другом». Это были вы. Вам было нелегко, но мы в вас верили. Однажды, приехав домой на каникулы, вы встретились с Максом. Вам было тогда лет шестнадцать. Макс рассказал мне об этом...

Я прервал ее:

– Подумать, он сказал вам об этом! То было самое несчастное для меня время!

– Да, Макс сказал мне: «Теперь у Синклера впереди самое трудное. Он делает еще одну попытку убежать в объединенность, он даже захакивает в кабаки; но ему это не удастся. Его печать закутана, но втайне она горит». Разве не так оно было?

– О да, так оно было, в точности так. Затем я нашел Беатриче, а потом наконец у меня опять появился вожатый. Только тогда мне стало ясно, почему мое детство было так связано с Максом, почему я не мог освободиться от него. Милая госпожа... милая мать, я тогда часто думал, что нужно покончить с собой. Неужели для каждого этот путь так труден?

Она провела ладонью по моим волосам, легко, воздушно.

– Родиться всегда трудно. Вы знаете, птица с трудом выбирается из яйца. Вспомните прошлое и спросите себя: так уж ли труден был ваш путь? Только труден? Не был ли он и прекрасен? Вы могли бы назвать более прекрасный, более легкий?

Я покачал головой.

– Было трудно, – сказал я как во сне, – было трудно, пока не пришла мечта.

Она кивнула и проницательно взглянула на меня.

– Да, надо найти свою мечту, тогда путь становится легким. Но не существует мечты вековой, каждую сменяет какая-то новая, и задерживать нельзя ни одну.

Я сильно испугался. Уж не предостережение ли это? Уж не отпор ли? Но все равно я был готов идти, куда она поведет меня, и о цели не спрашивать.

– Не знаю, – сказал я, – как долго проживет моя мечта. Я хотел бы, чтобы она была вечной. Под изображением птицы моя судьба приняла меня как мать и как возлюбленная. Я принадлежу ей, и никому больше.

– До тех пор, пока эта мечта – ваша судьба, вы должны быть верны ей, – подтвердила она серьезно.

Печаль охватила меня и страстное желание умереть в этот зачарованный час. Я чувствовал, что у меня неудержимо навертываются и одолевают меня слезы – как бесконечно давно я не плакал! Я резко отвернулся от нее, подошел к окну и невидящими глазами посмотрел вдаль поверх цветов в горшках.

Позади себя я слышал ее голос, он звучал спокойно, но был полон нежности, как до краев наполненная вином чаша.

– Синклер, вы дитя! Ведь ваша судьба вас любит. Когда-нибудь она будет принадлежать вам целиком, как вы мечтаете, если вы останетесь ей верны.

Я сделал над собой усилие и снова повернул к ней лицо. Она подала мне руку.

– У меня есть несколько друзей, – сказала она, улыбаясь, – очень немного совсем близких друзей, они называют меня «госпожа Ева». Вы тоже можете называть меня так, если хотите.

Она подвела меня к двери, открыла ее и указала на сад.

– Там вы найдете Макса.

Я стоял под высокими деревьями, оглушенный и потрясенный, не зная больше ли во мне трезвости, чем когда-либо, или мечтательности. С веток тихо капало. Я медленно вошел в сад, далеко растянувшийся вдоль реки. Наконец я нашел Демиана. Он стоял в открытой беседке, обнаженный по пояс, и упражнялся в боксе с помощью подвешенного мешочка с песком.

Я с удивлением остановился. Демиан выглядел великолепно: широкая грудь, крепкая, мужественная голова, поднятые руки с напряженными мышцами были сильны и хороши, из бедер, плеч, плечевых суставов движения били ключом.

– Демиан! – крикнул я. – Что это ты делаешь?

Он весело засмеялся.

– Упражняюсь. Я обещал бой этому маленькому японцу. Малый ловок, как кошка, и, конечно, так же коварен. Но со мной он не справится. Этим маленьким унижением я должен ему отплатить.

Он надел рубашку и пиджак.

– Ты уже был у матери? – спросил он.

– Да. Демиан, какая у тебя замечательная мать! Госпожа Ева. Это имя очень подходит ей, она как всеобщая мать.

Он задумчиво посмотрел мне в лицо.

– Ты уже знаешь ее имя? Можешь гордиться, мальчик! Ты первый, кому она сказала его в первый же час.

С этого дня я ходил к ним в дом как сын и брат, но и как любящий. Когда я закрывал за собой калитку, уже даже когда я издали видел высокие деревья сада, я был богат и счастлив. По ту сторону была «действительность», снаружи были улицы и дома, люди и учреждения, библиотеки и аудитории – а здесь были любовь и душа, здесь жили сказка и мечта. Однако мы вовсе не отгораживались от мира, в своих мыслях и разговорах мы часто жили в самой его гуще, только на другом поле, от большинства людей нас отделяли не границы, а только другой способ видеть. Наша задача состояла в том, чтобы служить в мире неким островом, неким, может быть, образцом, но во всяком случае возвещением другой возможности жить. Я, давно одинокий, узнал общность, которая возможна между людьми, изведавшими полное одиночество. Никогда больше меня не влекло назад, к застольям счастливых, к праздникам веселых, никогда больше я не испытывал ни зависти, ни тоски по родному, видя объединенность других. И постепенно я был посвящен в тайну тех, кто носит «печать».

Нас, отмеченных печатью, мир мог по праву считать странными, даже сумасшедшими и опасными. Мы были пробудившимися или пробуждающимися, и наши стремления сводились ко все более совершенному бодрствованию, тогда как стремления других, их поиски счастья сводились к тому, чтобы потеснее связать свои мнения, свои идеалы и обязанности, свою жизнь и свое счастье со счастьем стада. Там тоже были стремления, там тоже были сила и величие. Но в то время как мы, отмеченные печатью, представляли, по нашему мнению, волю природы к новому, к единичному и будущему, другие жили с волей к неизменности. Для них человечество (которое они любили, как и мы) было чем-то готовым, что надо сохранять и защищать. Для нас человечество было далеким будущим, на пути к которому мы все находимся, облик которого никому не известен, законы которого нигде не записаны.

Кроме госпожи Евы, Макса и меня, к нашему кружку, в большей или меньшей близости к нему, принадлежали еще некоторые ищущие самого разного рода. Иные из них шли особыми тропами, ставили перед собой особенные цели, держались особых мнений и особенных понятий о долге, среди них были астрологи и каббалисты, был приверженец графа Толстого, были всякие тонкие, робкие, ранимые люди, сторонники новых сект, поборники индийских упражнений, вегетарианцы и прочие. С ними всеми у нас не было в духовном отношении по сути ничего общего, кроме уважения, которое питал каждый к тайной мечте другого. Ближе были нам другие, интересовавшиеся человеческими поисками богов и идеалов в прежние времена и напоминавшие мне своими интересами моего Писториуса. Они приносили с собой книги, переводили нам с древних языков тексты, показывали нам изображения древних символов и обрядов, учили нас пониманию того, что весь имевшийся до сих пор у человечества набор идеалов состоял из видений бессознательной души, видений, в которых человечество на ощупь и наугад пробивалось к возможностям своего будущего. Так прошли мы через поразительный, тысячеголовый сонм богов древнего мира к заре христианства. Нам стали известны признания одиноких праведников и перемены в религиях при их переходе от народа к народу. И из всего собранного нами рождалась у нас критика нашей эпохи и нынешней Европы, которая ценой огромных усилий создала новое оружие человечества, но в итоге пришла к глубокому, а под конец и вопиющему духовному запустению. Ибо она приобрела весь мир, чтобы потерять из-за этого свою душу.

Тут тоже были приверженцы и поборники определенных надежд и учений. Были буддисты, желавшие обратить в свою веру Европу, были толстовцы, были другие вероисповедания. Мы в своем узком кругу слушали всех, и все эти учения принимали только как символы. На нас, отмеченных печатью, не лежала забота о будущем. Нам каждое вероисповедание, каждое вероучение уже заранее казались мертвыми и бесполезными. Свой долг и свою судьбу мы видели в единственном: каждый из нас должен был настолько стать самим собой, настолько соответствовать и подчиняться пробивающемуся в нем естеству, чтобы неведомое будущее нашло нас готовыми ко всему, что бы оно ни вздумало принести.

Ведь все мы, высказываясь или не высказываясь, ясно чувствовали, что уже на пороге обношение, уже близок крах нынешнего. Демиан иногда говорил мне:

– Что будет, вообразить невозможно. Душа Европы – зверь, который бесконечно долго был связан. Когда он освободится, первые его порывы будут не самыми приятными. Но пути и околь-

ные пути не имеют значения, лишь бы вышла наружу та истинная нужда души, которую так давно и упорно замалчивали и заглушали. Тогда настанет наш день, тогда мы понадобится, но не как вожди и новые законодатели, до новых законов нам не дожить, – а как согласные, как готовые подняться и стать там, когда зовет судьба. Понимаешь, все люди готовы совершить невероятное, когда под угрозой оказываются их идеалы. Но никто не отзовется, когда новый идеал, новый, может быть, опасный и жуткий порыв только начнет подавать голос. Теми немногими, кто отзовется тогда и поднимется, будем мы. Ибо нам это на роду написано – как было на роду написано Каину вызывать страх и ненависть и гнать тогдашнее человечество из идиллического мирка в опасные дали. Все люди, оказавшие воздействие на поступь человечества, все без различия были способны к такому воздействию лишь потому, что с готовностью принимали свою судьбу. Это можно сказать о Моисее и Будде, это можно сказать о Наполеоне и Бисмарке. Какой волне человек служит, с какого полюса им управляют, это ему выбирать не дано. Если бы Бисмарк понимал социал-демократов и на них ориентировался, он был бы умным господином, но не был бы человеком судьбы. Так же обстояло дело с Наполеоном, с Цезарем, с Лойолой, со всеми! Это всегда надо представлять себе биологически и исторически! Когда перевороты на земной поверхности бросили водяных животных на сушу, а наземных в воду, совершить эту новую, неслыханную перемену, приспособиться к новому и спасти свой вид смогли только готовые принять свою судьбу особи. Были ли это те же особи, что прежде выделялись в своем виде как консерваторы и охранители, или, напротив, оригиналы и революционеры, мы не знаем. Они проявили готовность и потому смогли спасти свой вид для нового развития. Это мы знаем. Поэтому и проявим готовность.

При таких разговорах госпожа Ева часто присутствовала, но сама в подобном роде не говорила. Она была для каждого из нас, кто выражал свои мысли, слушателем и отголоском, полным доверия, полным понимания, казалось, все эти мысли идут от нее и возвращаются к ней назад. Сидеть близ нее, порой слышать ее голос и разделять окружающую ее атмосферу зрелости и душевности было для меня счастьем.

Она сразу это чувствовала, когда во мне происходила какая-нибудь перемена, какое-то омрачение или обновление. Мне казалось, что мои сны внушены ею. Я ей часто рассказывал их, и они были для нее понятны и естественны, не существовало странностей, которых она не могла бы понять верным чутьем. Одно время я видел сны, как бы воспроизводившие наши дневные разговоры. Мне снилось, что весь мир в смятении, а я, один или с Демианом, напряженно жду великой судьбы. Судьба оставалась скрытой, но каким-то образом носила черты госпожи Евы: быть избранным ею или отвергнутым – в этом состояла судьба.

Иногда она говорила с улыбкой:

– Ваш сон неполон, Синклер, вы забыли самое лучшее...

И бывало, я тогда всё вспоминал и не понимал, как я мог это забыть.

Порой меня охватывало недовольство и мучило желание. Я думал, что у меня больше не хватит сил видеть ее рядом с собой и не заключить в объятье. И это тоже она замечала сразу. Когда я однажды несколько дней не приходил, а потом смущенно явился, она отвела меня в сторону и сказала:

– Не надо держаться за желания, в которые вы не верите. Я знаю, чего вы желаете. Вы должны научиться отказываться от этих желаний или желать вполне и по-настоящему. Если вы сумеете попросить так, что в душе будете вполне уверены в исполнении своего желания, то оно и исполнится. А вы желаете и тут же в этом раскаиваетесь, и потому боитесь. Все это надо преодолевать. Я расскажу вам одну сказку.

И она рассказала мне о юноше, влюбленном в звезду. Он стоял у моря, постирал руки и взывал к звезде, он мечтал о ней и обращал к ней свои мысли. Но он знал или полагал, что знает: человек не может обнять звезду. Он считал, что это его судьба – любить светило без надежды на исполнение желания, и на этой мысли построил всю свою жизнь как поэму о покорности судьбе и немом, непрестанном страдании, которое делает его лучше и чище. Но все его помыслы были направлены на звезду. Однажды он снова стоял ночью у моря, на высоком утесе, и смотрел на звезду, и сгорал от любви к ней. И в миг величайшей тоски он сделал прыжок и ринулся в пустоту, навстречу звезде. Но в самый миг прыжка он подумал с быстротой молнии: это же невозможно! И

тут он упал на берег и разбился. Он не умел любить. Если бы в тот миг, когда он прыгнул, у него нашлась душевная сила твердо и непреклонно поверить в исполнение желания, он бы взлетел и соединился со звездой.

– Любовь не должна просить, – сказала она, – и не должна требовать, любовь должна иметь силу увериться в самой себе. Тогда не ее что-то притягивает, а притягивает она сама. Синклер, вашу любовь притягиваю я. Если она когда-нибудь притянет меня, я приду. Я не хочу делать подарки, я хочу, чтобы меня обретали.

А в другой раз она рассказала мне другую сказку. Жил-был человек, который любил без надежды. Он совсем ушел в свою душу и думал, что сгорает от любви. Мир был для него потерян, он не видел ни синего неба, ни зеленого леса, ручей для него не журчал, арфа не звучала, всё потонуло, и он стал несчастен и беден. Но любовь его росла, и он предпочел бы умереть и совсем опуститься, чем отказаться от обладания красавицей, которую он любил. Он чувствовал, как его любовь сжигала в нем все другое, а она становилась мощнее, она притягивала, и красавице пришлось повиноваться, она пришла, он стоял с распростертыми руками, чтобы привлечь ее к себе. Но став перед ним, она вся преобразилась, и он, содрогаясь, почувствовал и увидел, что привлек к себе весь потерянный мир. Она стояла перед ним и отдавалась ему; небо, лес и ручей – все великолепно заиграло новыми, свежими красками, бросилось к нему, принадлежало ему, говорило его языком. И вместо того чтобы обрести только женщину, он обнял весь мир, и каждая звезда на небе горела в нем и сверкала радостью в его душе... Он любил и при этом нашел себя. А большинство любит, чтобы при этом себя потерять.

Моя любовь к госпоже Еве казалась мне единственным содержанием моей жизни. Но каждый день эта любовь выглядела иначе. Иногда я уверенно чувствовал, что тянет меня не к ней лично, а что она – лишь символ моего естества и хочет только глубже ввести меня в мою суть. Порой я слышал от нее слова, которые звучали как ответы моего подсознания на жгучие вопросы, меня волновавшие. А бывали минуты, когда я сгорал рядом с ней от вожделения и целовал предметы, к которым она прикоснулась. И постепенно чувственная и нечувственная любовь, действительность и символы смешивались. Тогда я, бывало, спокойно и проникновенно думая о ней у себя в комнате, одновременно мнил, что рука ее лежит в моей руке, а ее губы прижаты к моим губам. Или я находился у нее, глядел ей в лицо, говорил с ней, слышал ее голос и все же не знал, вижу ли я ее наяву или во сне. Я начал понимать, как может стать любовь прочной, бессмертной. При чтении книги я узнавал что-то новое, и это было такое же чувство, как от поцелуя госпожи Евы. Она гладила меня по волосам и улыбалась мне своей зрелой, благоуханной теплотой, и я испытывал такое же чувство, как тогда, когда продвигался вперед внутри себя. Всё это было важно, все, что было судьбой для меня, могло принять ее облик. Она могла превратиться в любую мою мысль, и любая моя мысль – в нее.

Рождественских праздников, на которые я должен был поехать к родителям, я боялся, полагая, что это будет мука – прожить две недели вдаль от госпожи Евы. Но это оказалось не мукой, это оказалось великолепно – быть дома и думать о ней. Вернувшись в Г., я еще два дня не ходил в ее дом, чтобы насладиться этой уверенностью, этой независимостью от ее чувственного присутствия. Были у меня и сны, где мое соединение с ней совершалось новыми, аллегорическими способами. Она была морем, в которое я втекал. Она была звездой, и я сам, в виде звезды, двигался к ней, и мы чувствовали, как нас тянет друг к другу, встречались, оставались вместе и в вечном блаженстве кружили друг возле друга близкими, звонкими кругами.

Этот сон я и рассказал ей, в первый раз явившись к ней снова.

– Прекрасный сон, – сказала она тихо. – Сделайте так, чтобы он исполнился.

В предвесеннюю пору случился день, которого мне не забыть. Я вошел в зальце, одно окно было открыто, и теплый поток воздуха разносил тяжелый запах гиацинтов. Поскольку никого не было видно, я поднялся по лестнице в кабинет Демиана. Я слегка постучал в дверь и вошел, не дожидаясь, по привычке, ответа.

В комнате было темно, все занавески были задернуты. Открыта была дверь в маленькое соседнее помещение, где Макс устроил химическую лабораторию. Оттуда шли светлые, белые лучи

весеннего солнца, пробивавшегося сквозь тучи. Решив, что здесь никого нет, я отдернул одну занавеску.

Тут я увидел Макса Демиана – он сидел на скамеечке у завешенного окна, весь сжавшийся и странно изменившийся, и меня молнией пронзило чувство: это ты уже видел однажды! Руки его неподвижно свисали к животу, его чуть склоненное вперед лицо было невидяще-безжизненно, в зрачке мертвенно, как в стекляшке, блестело пятнышко отраженного света. Бледное лицо было погружено в себя и не выражало ничего, кроме полного оцепенения, оно походило на древнюю-предревнюю маску животного на портале храма. Казалось, он не дышал.

Воспоминание захлестнуло меня – таким, точно таким я уже видел его однажды, много лет назад, когда я был еще мальчиком. Так же глядели куда-то внутрь глаза, так же безжизненно лежали рядом руки, муха еще ползла по его лицу. И тогда, шесть, может быть, лет назад, он был на вид точно такого же возраста, так же не связан ни с каким временем, ни одна черточка в его лице не была сегодня иной.

Испуганный, я тихо вышел из комнаты и сошел по лестнице вниз. В зальце я встретил госпожу Еву. Она была бледна и казалась усталой, чего я за ней прежде не замечал, тень влетела в окно, большое, белое солнце внезапно исчезло.

– Я был у Макса, – прошептал я быстро.

– Что случилось?

– Он спит или погружен в себя, не знаю, однажды я уже видел его таким.

– Вы ведь не разбудили его? – спросила она быстро.

– Нет. Он не слышал меня. Я сразу же вышел. Госпожа Ева, скажите мне, что с ним?

Она провела по лбу тыльной стороной ладони.

– Не беспокойтесь, Синклер, ничего с ним не случится. Он удалился. Это продлится недолго.

Она встала и вышла в сад, хотя уже закапал дождь. Я чувствовал, что мне не следует идти за ней. Я ходил по зальцу, нюхал одуряюще пахнувшие гиацинты, глядел на свой рисунок с птицей над дверью и подавленно дышал странной тенью, которая наполнила дом в это утро. Что это было такое? Что случилось?

Госпожа Ева вскоре вернулась. В ее темных волосах висели капли дождя. Она села в свое кресло. Усталость оведала ее. Я подошел к ней, склонился над ней и губами снял капли с ее волос. Глаза ее были светлы и тихи, но капли были на вкус как слезы.

– Посмотреть, что с ним? – спросил я шепотом.

– Не будьте ребенком, Синклер! – приказала она громко, словно чтобы разрушить чары в себе самой. – Ступайте теперь и приходите позднее, я сейчас не могу говорить с вами.

Я ушел и побежал от домов и города к горам, мелкий косой дождь летел навстречу мне, придавленные тяжестью тучи низко неслись мимо, как в страхе. Внизу не было почти ни дуновения, а вверху, казалось, бушевала буря, из стальной серости туч несколько раз на миг вырывалось солнце, бледное и резкое.

Вдруг по небу проплыла неплотная желтая туча, она уперлась в серую стену, и ветер за несколько секунд составил из желтого и синего некую картину, огромную птицу, которая вырывалась из синей неразберихи и широкими взмахами крыльев улетала в небо. Теперь буря стала слышна, и ударил дождь, смешанный с градом. Короткий, неправдоподобный и страшный гром пророкотал над исхлестанной землей, затем снова прорвалось солнце, и на близких горах над бурным лесом тускло и призрачно засветился бледный снег.

Когда я через несколько часов, промокший и продрогший, вернулся, Демиан сам отпер мне дверь.

Он повел меня наверх, в свою комнату, в лаборатории горело газовое пламя, были разбросаны бумаги, он, по-видимому, работал.

– Садись, – пригласил он, – ты, наверно, устал – была ужасная погода, видимо, ты долго гулял. Сейчас будет чай.

– Сегодня что-то происходит, – начал я нерешительно, – едва ли дело только в какой-то грозе.

Он испытующе посмотрел на меня.

– Ты что-то увидел?

– Да. Я на секунду ясно увидел в тучах некую картину.

– Какую картину?

– Это была птица.

– Ястреб? Неужели? Птица из твоего видения?

– Да, это был мой ястреб. Он был желтый, огромный и улетел в сине-черное небо.

Демиан глубоко вздохнул с облегчением.

В дверь постучали. Старая служанка принесла чай.

– Пей, Синклер, пожалуйста... Думаю, ты увидел эту птицу не случайно.

– Случайно? Разве такие вещи можно увидеть случайно?

– Верно, нельзя. Это что-то означает. Ты знаешь – что?

– Нет. Я только чувствую, что это означает какое-то потрясение, какой-то шаг в судьбе. Думаю, дело касается всех.

Он взволнованно прошелся по комнате.

– Шаг в судьбе? – воскликнул он громко. – То же самое мне снилось сегодня ночью, и у моей матери было вчера предчувствие, говорившее о том же... Мне снилось, что я взбираюсь по приставной лестнице на дерево или на башню. Взобравшись наверх, я увидел всю местность, это была большая равнина с горящими городами и деревнями. Я еще не могу рассказать все, мне еще не все ясно.

– Ты относишь этот сон к себе? – спросил я.

– К себе? Конечно. Никому не снится то, что его не касается. Но это касается не одного меня, тут ты прав. Я довольно точно различаю сны, указывающие мне движения моей собственной души, и другие, очень редкие, где есть намек на человеческую судьбу вообще. Такие сны у меня редко бывали, и никогда не было сна, о котором я мог бы сказать, что он был пророческим и исполнился. Толкования тут слишком неопределенны. Но я точно знаю, что мне снилось что-то, касающееся не одного меня. Этот сон принадлежит ведь к числу тех, других, что снились мне прежде, он их продолжает. Это те сны, Синклер, откуда у меня возникают предчувствия, о которых я уже говорил. Что наш мир довольно скверен, мы знаем, это еще не дает основания предвещать ему гибель или что-то подобное. Но мне уже много лет снятся сны, по которым я заключаю – или чувствую, или как тебе угодно, – из которых, стало быть, я заключаю, что близится крушение старого мира. Сперва это были совсем слабые, отдаленные предчувствия, но они становились все отчетливей и сильнее. Пока я не знаю ничего, кроме того, что надвигается что-то большое и ужасное, касающееся и меня. Синклер, мы увидим то, о чем иногда говорили! Мир хочет обновиться. Пахнет смертью. Новое никогда не приходит без смерти... это страшнее, чем я думал.

Я испуганно уставился на него.

– Ты не можешь рассказать мне окончание твоего сна? – спросил я робко.

– Нет.

Дверь открылась, и вошла госпожа Ева.

– Вот вы где! Дети, вы, надеюсь, не грустите?

У нее был свежий, уже совсем не усталый вид. Демиан улыбнулся ей, она пришла к нам, как мать к напуганным детям.

– Грустить мы не груstim, мать, мы просто немного погадали насчет этих новых предзнаменований. Но ведь толку в том нет. Внезапно придет то, что хочет прийти, и тогда мы уж узнаем то, что нам надо знать.

Но у меня было скверно на душе, и когда я, попрощавшись, проходил один через зальце, запах гиацинтов показался мне вялым, неживым, трупным. Над нами нависла тень.

Глава восьмая

Начало конца

Я устроил так, чтобы еще и на летний семестр остаться в Г. Теперь мы почти всегда были не дома, а в саду у реки. Японец, и в самом деле, кстати сказать, потерпевший поражение в схватке,

уехал, толстовец тоже отсутствовал. Демриан завел лошадь и изо дня в день упорно ездил верхом.

Порой я удивлялся мирному течению моей жизни. Я так давно привык быть один, не давать себе воли, биться со своими бедами, что эти месяцы в Г. были для меня каким-то островом блаженства, на котором можно было уютно и отрешенно жить в мире только прекрасных, приятных вещей и чувств. Мне казалось, что это предвестие той новой высокой общности, о которой мы думали. И время от времени меня охватывала от этого счастья глубокая грусть, ибо я знал, что долго оно длиться не может. Мне не было суждено дышать легко и вольно, мне нужны были мука и гонка. Я чувствовал: однажды я очнусь от этих прекрасных видений любви и буду один, совсем один в холодном мире иных, где мой удел – только одиночество и борьба, но не мир, не общая с кем-то жизнь.

Тогда я с удвоенной нежностью стремился быть поближе к госпоже Еве, радуясь, что моя судьба все еще носит эти прекрасные, тихие черты.

Летние недели прошли быстро и легко, семестр уже кончался. Предстояло вскоре проститься, я об этом думать не мог, да и не думал, упиваясь прекрасными днями, как мотылек медоносным цветком. Это ведь мое счастливое время, первое в жизни исполнение желаний, вступление в союз. Что потом? Я снова буду биться, изнывать от тоски, мечтать, жить в одиночестве.

В один из тех дней это предчувствие охватило меня с такой силой, что моя любовь к госпоже Еве вдруг мучительно вспыхнула. Боже, как скоро, и я никогда больше ее не увижу, никогда больше не услышу ее твердых добрых шагов по дому, никогда больше не найду ее цветов у себя на столе! А чего я достиг? Я мечтал и убаюкивал себя, вместо того чтобы завоевать ее, бороться за нее и навсегда завладеть ею! Мне вспомнилось все, что она говорила мне о настоящей любви, сотни тонких увещаний, сотни тихих приманок, может быть, обещаний – что я из этого сделал? Ничего! Ничего!

Я встал посреди своей комнаты, сосредоточил весь свой ум и задумался о Еве. Я хотел собрать силы своей души, чтобы заставить ее почувствовать мою любовь, чтобы притянуть ее ко мне. Она должна была прийти и взалкать моего объятия, мой поцелуй должен был ненасытно метаться в ее зрелых любовных губах.

Я стоял, напрягшись так, что от кончиков рук и ног ко мне потек холод. Я чувствовал, что от меня исходит сила. На несколько мгновений во мне что-то плотно и тесно сжалось, что-то светлое и прохладное; на миг мне почудилось, что у меня какой-то кристалл в сердце, и я знал, что это мое «я». Холод поднялся до самой груди.

Когда я очнулся от этого ужасного напряжения, я почувствовал, что что-то будет. Я смертельно устал, но я был готов увидеть, как Ева войдет в мою комнату, пылающая, восхищенная.

Тут ударил, приближаясь по длинной улице, конский топот, простучал близко и твердо, вдруг оборвался. Я бросился к окну. Внизу слезал с лошади Демриан. Я сбежал вниз.

– Что стряслось, Демриан? Надеюсь, у твоей матери все благополучно?

Он не слушал моих слов. Он был очень бледен, и пот стекал у него со лба по обеим щекам. Он привязал свою разгоряченную лошадь к ограде сада, взял меня под руку и пошел со мной вниз по улице.

– Ты уже что-то знаешь?

Я ничего не знал.

Демриан сжал мою руку и повернул ко мне лицо, с каким-то темным, сострадательным, странным взглядом.

– Да, мой мальчик, теперь начнется. Ты ведь знал о трениях с Россией...

– Что? Неужели война? Я никогда в это не верил.

Он говорил тихо, хотя поблизости не было ни души.

– Она еще не объявлена. Но война будет. Можешь не сомневаться. Я тебе с тех пор этим не докучал, но с того раза я уже трижды видел новые знаки. Ни конца света, ни землетрясения, ни революции не будет, стало быть. Будет война. Увидишь, какой будет взрыв! Люди будут в восторге, уже сейчас каждый рад ударить. Такой дрянной стала наша жизнь... Но увидишь, Синклер, это только начало. Война будет, возможно, большая, очень большая война. Но и это только начало. Начинается что-то новое, и для тех, кто цепляется за старое, это новое будет ужасно. Ты что бу-

дешь делать?

Я был ошеломлен, все это звучало для меня еще дико и неправдоподобно.

– Не знаю... а ты?

Он пожал плечами.

– Как только объявят мобилизацию, я пойду. Я лейтенант.

– Ты? Об этом я ничего не знал.

– Да, это была одна из моих попыток приспособиться. Ты знаешь, я не люблю выделяться внешне и всегда, чересчур даже, старался быть корректным. Через неделю, наверно, я буду уже на фронте...

– Боже мой...

– Не надо, мой мальчик, смотреть на это сентиментально. Мне ведь не очень-то приятно командовать стрельбой по живым людям, но это будет несущественно. Каждого из нас закрутит великое колесо. Тебя тоже. Тебя наверняка призовут.

– А что будет с твоей матерью, Демиан?

Только теперь я вспомнил о том, что было четверть часа назад. Как изменился мир! Я напрягал все силы, чтобы вызвать милый образ, а судьба вдруг по-новому усталилась на меня грозной, ужасной маской.

– С моей матерью? Ах, о ней нам нечего беспокоиться. Она в большей безопасности, чем кто-либо на свете сегодня... Ты так сильно любишь ее.

– Ты знал это, Демиан?

Он засмеялся звонко и совсем облегченно.

– Ребенок! Конечно, знал. Никто еще не называл мою мать «госпожа Ева», не любя ее. Кстати, как это было? Ты звал сегодня ее или меня, так ведь?

– Да, я звал... Я звал госпожу Еву.

– Она это почувствовала. Она вдруг послала меня к тебе. Я как раз рассказывал ей новости о России.

Повернув назад, мы еще немного поговорили, затем он отвязал лошадь и сел в седло.

Лишь наверху, у себя в комнате, я почувствовал, как я изнурен и сообщением Демиана, и, еще больше, предшествовавшим напряжением. Но госпожа Ева меня услышала! Я достиг ее сердца своими мыслями. Она пришла бы сама... если бы не... Как странно все это было и как в сущности прекрасно! Теперь разразится война, теперь начнется то, о чем мы столько раз говорили. И так много об этом Демиан знал наперед. Как странно, что мировой поток пробегает уже не где-то мимо нас, что теперь он вдруг проходит через наши сердца, что нас зовут приключения и дикие судьбы и что сейчас или вскоре настанет тот миг, когда мы понадобится миру, когда мир начнет изменяться. Удивительно только, что такое одинокое дело, как «судьба», я должен проделать вместе со столькими людьми, сообщая со всем миром. Ну и хорошо!

Я был готов. Вечером, когда я шел через город, везде все бурлило от великого волнения. Везде слышалось слово «война»!

Я пришел в дом госпожи Евы, мы ужинали в садовом домике. Я был единственным гостем. Никто не упомянул о войне ни одним словом. Только позднее, уже перед самым уходом, госпожа Ева сказала:

– Дорогой Синклер, вы меня сегодня позвали. Вы знаете, почему я не пришла сама. Но не забывайте: теперь вам известно, как можно позвать, и когда вам понадобится кто-то, кто носит печать, позовите снова!

Она поднялась и пошла впереди меня через сумрак сада. Величаво и царственно шествовала эта таинственная женщина между молчащими деревьями, и над ее головой, маленькие и хрупкие, светились звезды.

Я подхожу к концу. События разворачивались быстро. Вскоре началась война, и Демиан, поразительно незнакомый в серебристо-серой шинели, уехал. Я проводил его мать назад домой. Вскоре я простился с ней, она поцеловала меня в губы и на миг прижала к груди, и ее большие глаза прожгли мои вплотную и твердо.

И все люди словно бы побратались. Они имели в виду отечество и честь. Но все они один миг смотрели в открывшееся лицо судьбы. Молодые люди приходили из казарм, садились в поезда, и на многих лицах я видел печать – не нашу, – прекрасную и полную достоинства печать, означавшую любовь и смерть. Меня тоже обнимали люди, которых я никогда прежде не видел, и я понимал это, и с радостью отвечал тем же. Поступали они так в порыве, а не по велению судьбы, но порыв этот был священный, он возникал оттого, что все они извели этот короткий будоражащий взгляд в глаза судьбы.

Уже почти наступила зима, когда я попал на фронт.

Сначала я, несмотря на новые ощущения от перестрелки, был разочарован всем. Раньше я много размышлял о том, почему так крайне редко человек способен жить ради какого-то идеала. Теперь я увидел, что многие, даже все, способны за идеал умереть. Только надо, чтобы идеал этот был не личным, не свободным, не выбранным, а общим и у кого-то заимствованным.

Но со временем я увидел, что я людей недооценивал. Как бы ни унифицировали их служба и общая опасность, я видел многих, и живых, и умиравших, которые великолепно приближались к велению судьбы. У многих, очень многих, не только при наступлении, но и в любое время, был этот твердый, далекий, как бы бесноватый взгляд, который знать не знает о целях и означает полную отданность чудовищному. Что бы они ни думали и во что бы ни верили, они были готовы, они были нужны, из них строилось будущее. И чем упрямее настаивал мир на войне, на героизме, чести и на других старых идеалах, чем отдаленнее и неправдоподобнее звучал всякий голос кажущейся человечности, тем более поверхностным все это становилось, точно так же, как вопрос о внешних и политических целях войны оставался лишь на поверхности. А в глубине происходило становление чего-то. Чего-то вроде новой человечности. Ибо я видел многих – иные из них умерли рядом со мной, – кто понял чувством, что ненависть и злоба, убийство и уничтожение не привязаны ни к каким объектам. Нет, объекты, точно так же, как цели, были совершенно случайны. Глубинные чувства, даже самые дикие, не относились к врагу, их кровавое дело было лишь излучением внутреннего мира, расколовшейся души, которая хотела буйствовать и убивать, уничтожать и убивать, чтобы родиться заново. Гигантская птица выбиралась из яйца, и яйцо было миром, и мир должен был развалиться.

Возле усадьбы, которую мы заняли, я стоял на часах предвесенней ночью. Прихотливыми порывами дул ветерок, по высокому небу Фландрии неслись полчища туч, где-то за ними угадывалась луна. Уже весь день я был беспокоен, меня донимала какая-то забота. Сейчас, на своем темном посту, я проникновенно вспоминал картины прежней жизни, госпожу Еву, Дамиана. Я стоял, прислонившись к тополи, и глядел в беспокойное небо, просветы в котором, украдкой вздрагивая, превращались вскоре в большие, текучие вереницы картин. По странной вялости пульса, по нечувствительности кожи к дождю и ветру, по искрящейся внутренней свежести я чувствовал, что меня объяло чье-то водительство.

В тучах был виден большой город, из него выливались миллионы людей, которые толпами растекались по широким просторам. В их гуще возникла какая-то могучая, божественно-величественная фигура, со свергающими звездами в волосах, громадная, как гора, с чертами госпожи Евы. В нее, как в исполинскую пещеру, стали вливаться, исчезая, людские толпы. Богиня села наземь, печать на ее челе светилась. Казалось, ею овладел сон, она закрыла глаза, и ее большое лицо исказилось болью. Вдруг она громко вскрикнула, и из ее чела посыпались звезды, тысячи горящих звезд, которые разлетались по черному небу великолепными извивами и полукругами.

Одна из звезд, звеня, метнулась ко мне, она, казалось, искала меня... И вдруг она с треском рассыпалась на тысячи искр, меня рвануло вверх и швырнуло снова на землю, мир надо мной с грохотом рухнул.

Меня нашли близ тополя, засыпанным землей и со множеством ран.

Я лежал в подвале, надо мной грохотали орудия. Я лежал на повозке и трясся в пустынных полях. Большею частью я спал или был без сознания. Но чем крепче я спал, тем сильнее я чувствовал, что что-то тянет меня, что я повинуюсь какой-то силе, которой подвластен.

Я лежал в сарае на соломе, было темно, кто-то наступил мне на руку. Но моя душа рвалась куда-то, меня сильнее тянуло прочь. Снова я лежал на повозке, а позднее на носилках или на пере-

носной лестнице, все сильнее чувствуя веление куда-то двигаться, ничего не чувствуя, кроме стремления прибыть наконец туда.

И вот я добрался до цели. Была ночь, я был в полном сознании, еще только что я чувствовал всю мощь этой своей внутренней тяги. Лежал я в каком-то зале, уложенный на полу, и вдруг почувствовал, что нахожусь там, куда меня звали. Я огляделся, рядом с моим тюфяком лежал другой, а на нем кто-то, который наклонился вперед и смотрел на меня. У него была печать на лбу. Это был Макс Демиан.

Я не мог говорить, и он тоже не мог или не хотел. Он только смотрел на меня. На его лицо падал свет от висевшего на стене фонаря. Он улыбался мне.

Бесконечно долго глядел он мне прямо в глаза. Медленно приблизился он лицом ко мне почти вплотную.

– Синклер! – сказал он шепотом.

Я показал глазами, что понял его.

Он улыбнулся опять, почти с состраданием.

– Малыш, – сказал он, улыбаясь.

Его рот был совсем рядом с моим. Он тихо продолжал говорить.

– Ты еще помнишь Франца Кромера? – спросил он.

Я мигнул ему и тоже смог улыбнуться.

– Малыш Синклер, слушай! Мне придется уйти. Я тебе, может быть, когда-нибудь снова понадоблюсь, для защиты от Кромера или еще для чего-нибудь. Если ты меня тогда позовешь, я уже не прибуду так грубо верхом или по железной дороге. Тогда тебе придется вслушаться в себя, и ты увидишь, что я у тебя внутри. Понимаешь?.. И еще одно. Госпожа Ева велела мне, если тебе когда-нибудь придется худо, передать тебе поцелуй от нее... Закрой глаза, Синклер!

Я послушно закрыл глаза, я почувствовал его легкий поцелуй на своих постоянно кровоточивших губах. А потом я уснул.

Утром меня разбудили для перевязки. Вполне наконец проснувшись, я быстро повернулся к соседнему тюфяку. Там лежал незнакомый человек, которого я никогда не видел.

Перевязка причиняла мне боль. Все, что с тех пор происходило со мной, причиняло мне боль. Но когда я порой нахожу ключ и целиком погружаюсь в себя, туда, где в темном зеркале дремлют образы судьбы, тогда мне достаточно склониться над этим черным зеркалом, и я уже вижу свой собственный образ, который теперь совсем похож на Него, на Него, моего друга и вожака того.

Послесловие переводчика

«История юности, написанная Эмилем Синклером» вышла в свет в июне 1919 года тиражом в 3 300 экземпляров. Никакого другого имени на титульной странице не значилось, и понять этот подзаголовок предлагалось так, что Синклер и есть автор повести «Демиан». Многие так и поняли.

«Поразительно было, – вспоминал Гессе через много лет, – что именно самые искушенные литераторы, Томас Манн, Корроди и т. д. и т. д., не узнали меня за псевдонимом, а совсем наивные читатели, но читавшие сердцем, узнали меня с первой же страницы».

Насчет недогадливости «именно самых искушенных» Гессе, правда, немного преувеличил – как и в своем противопоставлении им «читающих сердцем». Прочитав поступившую к нему рукопись, редактор издательства «С. Фишер», поэт Оскар Лёрке, чья литературная искушенность несомненна, отозвался о «Демиане» так: «Замечательная книга! У нее только один недостаток: очень уж она напоминает Гессе». А Томас Манн, хоть он сразу и не узнал Гессе за псевдонимом, и через тридцать лет говорил о «незабываемом, электризирующем воздействии» «Демиана» после первой мировой войны, о том, что эта книга «таинственного Синклера до жути точно попала в нерв времени», и сопоставлял ее в этом смысле со «Страданиями молодого Вертера».

Псевдоним нужен был Гессе по разным причинам. В случае «Демиана» он не только давал автору отстраненность от материала, внутреннюю свободу, не только сыграл ту расковыливающую перо роль, которая сходна с ролью третьего лица в автобиографическом повествовании, но и вы-

полнил одну чисто практическую задачу. Во время первой мировой войны Гессе, которого не взяли в германскую армию из-за плохого зрения, работал, живя в Швейцарии, в организации, оказывавшей помощь немецким военнопленным, и германское консульство в Берне потребовало, чтобы он воздерживался от каких-либо печатных выступлений на актуальные политические темы. Псевдоним имел, таким образом, еще и, как теперь говорят, «протокольное» назначение. Надо также заметить, что псевдоним «Синклер», совпадавший с именем друга и покровителя поэта Фридриха Гёльдерлина (1770–1843), не мог не вызвать, во всяком случае у читателей «искушенных», соответствующих ассоциаций. В этом имени слышался намек на связь «Демияна» с гуманистическими традициями немецкой литературы.

Гессе – писатель вообще автобиографический. Даже когда действие его произведений происходит в далеком прошлом или в фантастическом будущем, в экзотических или выдуманных местах земли, он пишет о том, что пережил, продумал, прочувствовал сам. «Демиян» автобиографичен в особенно большой мере. Родной город Синклера, берег реки, опоры моста, рыночная площадь, отцовский дом героя, любящая мать, сестры, неприятности в учебных заведениях, несогласие с отцом – все это, можно сказать, списано с натуры, во всем этом узнаются швабский городок Кальв, река Нагольд, кальвская Марктплац, кальвская гимназия, а в бореньях Синклера – «страдания молодого Гессе», доведшие его до бегства из семинарии, попытки самоубийства и лечения в клинике нервных болезней.

Когда четырнадцатилетний Гессе в письме к отцу несколько преувеличенно изложил свои сомнения в авторстве Евангелия от Луки, отец назидательно ответил сыну, что сам он никогда подобных сомнений не испытывал. А когда в другом письме домой Гессе с живым интересом рассказал, как гимназисты гипнотизируют друг друга, отец снова ответил ему поучением: «Мне все эти темные вещи ужасны. Наше тело должно быть храмом святого духа, наша душа – орудием Бога».

Сопоставляя эти документально засвидетельствованные подробности биографии Гессе с идейно-сюжетными деталями «Демияна», легко предположить, что и другие, не имеющие такого документального «подтверждения» эпизоды, например, вложенный в уста второстепенного персонажа рассказ о муках полового созревания, столь же точно соответствуют пережитому и испытанному самим Гессе. Действительно, фигура Писториуса, например, его беседы – это довольно точный портрет психоаналитика доктора Ланга и довольно точная запись его бесед с автором-пациентом. И всякий, конечно, кто мало-мальски знаком с биографией Гессе, кто знает о тысячах его акварелей и рисунков, о его страсти к живописи и постоянной тесной дружбе с художниками, только узнавая кивнет головой, читая о вещих рисунках Синклера.

Но самое «гессевское» в «Демияне» – это все-таки не материал, не «фактура», а тот общий смысл повести, который связывает ее с глубинным стержнем, с центральным, так сказать, нервным стволом всего творчества этого автора, тема, которой Гессе был верен всю жизнь, от начальной поры писательства до «Степного Волка» и «Игры в бисер». Пользуясь его собственной терминологией, тему эту можно определить как «путь внутрь», «путь к самому себе», «своеволие» (впрочем, последняя калька нехороша, немецкому *Eigensinn* в данном случае ближе русское слово «самобытность»).

Путь человека к самому себе, к независимости от расхожих мнений, к самостоятельности в мыслях и поступках начинается уже с раннего детства и с пустяков, а длится очень долго. Есть «детские» препятствия на этом пути, а есть и серьезные. Восьмилетний Эмиль Синклер, например, потерял свой «светлый мир», подчинившись тирании скверного мальчишки, от которой его довольно просто освободил Демиян. А двадцатилетний Гессе, к примеру, потерял «закон, который в себе», попав в идейный плен тюрбингенского кружка друзей, и ему, Гессе, нужно было претерпеть тяжелую духовную ломку, чтобы вырваться оттуда и вспомнить об этом своем отходе от «себя» саркастическими стихами: «Нас считали декадентами и современными, / И мы с удовольствием в это верили. / А на самом деле мы были молодые господа / В высшей степени приличного поведения».

Выражаясь символическим языком «Демияна», птица выбирается из яйца очень долго и очень мучительно, а бывает, она так и не воспаряет к небу.

В письме от 2 февраля 1922 г. Гессе разъяснял «Дамиана» так: «Эта книга делает акцент на индивидуализации, на становлении личности, без которого нет высшей жизни. И при этом процессе, где нужна лишь верность себе самому, существует, собственно, только один большой враг – условность, косность, мещанство. Лучше биться со всякими бесами „демонами“, чем принять лживого бога условности“.

Эта формула мысли, эта конструкция фразы – «лучше то-то, чем то-то» – была, видимо, вообще по душе Гессе, когда он, определяя самое важное для себя на новом витке жизни, вслушивался в свой внутренний голос. Во времена «Дамиана» неприемлемое носило название «условность», «мещанство», «стадность» как антоним самобытности, достоинства индивидуума, личной добросовестности; в этом ряду в текстах Гессе появились слово «коллектив» и производные от него. В тридцатые-сороковые годы в гессевских текстах можно было найти словосочетание «оргии коллективизма». Что он понимал под ними, явствует из сочиненных в те годы однажды во время бессонницы строк: «Лучше фашистами быть убитым, / Чем фашистом быть. / Лучше коммунистами быть убитым, / Чем коммунистом быть». Самим внешним оформлением мысли (и здесь «лучше то-то, чем то-то») напоминают эти строки процитированное письмо о «Дамиане». Но связь тут не только внешняя.

«Путь внутрь», «путь к самому себе» возможен лишь при постоянном сопротивлении самым распространенным, господствующим над массой идеям, лишь в постоянной борьбе «со всякими бесами и демонами». В том, кто идет этим путем, как мальчик Синклер, как юноша Синклер, пылливо и добросовестно, вырабатывается стойкий иммунитет к антигуманным и псевдогуманным поветриям.

От редакции

Вслед за публикацией «Дамиана» мы печатаем несколько ответов Г. Гессе своим читателям, писем от которых он получал немало, особенно после присуждения ему Нобелевской премии. Поскольку поток писем был очень велик, Гессе пришлось прибегнуть к особому эпистолярному жанру – «письмам по кругу», печатая их в прессе. Это позволило ему отвечать сразу нескольким корреспондентам, обобщая их наиболее типичные вопросы, а также собственные размышления о природе творчества, писательском призвании, о культуре, вере и религии, обнаруживая при этом поистине «гессевскую» серьезность, глубину и высокую нравственность.

Письма к друзьям

Молодому коллеге из Японии

Дорогой коллега! Ваше длинное январское письмо, которое дошло до меня ко времени цветения вишен, было действительно первым приветом из Вашей страны, нашедшим дорогу ко мне после стольких лет молчания. И по некоторым признакам я могу судить, что Ваш привет и призыв поистине идет, как Вы говорите, из основательно потрясенного мира – из мира, как бы повергнутого в хаос. Оно предполагает и ищет во мне и моей стране, «завидном мирном острове», еще не разрушенный мир разума, признанную и действующую иерархию ценностей и сил. И в некотором отношении Вы правы. Ваше страстное, полное одновременно веры и страха письмо написано среди руин разрушенного большого города, где трудно было найти даже бумагу и конверт, и вот оно здесь, его принесла приветливая местная почтальонша в покой неразрушенного дома и деревни, где цвет вишни затопляет зелень долины и целый день можно слушать кукушку. А так как Ваше письмо – это письмо юноши к старику, то и в душе оно застало не хаос, а определенный порядок и здоровье, – правда, это не тот стабильный порядок, который поддерживается общим положением западного мира, более или менее хорошо сохранившимся наследием веры и добрых обычаев в духовной жизни, но одинокое существование на острове, где среди хаоса продолжает жить

традиция, оставшаяся неразрушенной. Таких одиночек, таких духовно благовоспитанных старых людей здесь в стране много, в общем-то их, пожалуй, не презирают, не высмеивают и уж тем более не преследуют, – напротив, их ценят, им рады, их держат во время падения ценностей, как заботливо содержат в резервациях вымиравших животных, при случае ими даже гордятся и хвастают как чисто западным наследием, каким не может похвастать ни возвышающаяся Россия, ни возвышающаяся Америка. Но мы, старые писатели, мыслители и благочестивые люди, не являемся больше ни душой, ни разумом западного мира, мы – остатки вымирающей расы, строго говоря, мы становимся таковыми по крайней мере сами, последователей нет.

Но вернемся к Вашему письму. Вы беспокоитесь о том, что кажется мне ненужным. Вы немного горячитесь из-за того, что студенты, с которыми Вы учитесь, видят во мне лишь мелкого сентиментального лирика из Южной Германии, а не героя и мученика правды, как это делаете Вы. Обе стороны правы и не правы, не стоит принимать всерьез эту формулировку. Или, скорее, так: не стоит исправлять суждение Ваших товарищей обо мне, потому что суждение, правильно оно или нет, никому не повредит. Напротив, то, как Вы судите и оцениваете меня, дорогой коллега, явно нуждается в исправлении и контроле, ибо здесь мог бы возникнуть вред. Ведь Вы не только молодой читатель, в руки которого в период особой восприимчивости ко всему попали некоторые книги, полюбившиеся ему, которым он благодарен, которые он ценит и переоценивает. На это имеет право любой читатель, он может по велению сердца сделать книгу объектом поклонения или презрения, не причиняя всем этим никакого вреда. Но Вы ведь не только вдохновенный молодой читатель. Вы являетесь, как Вы пишете, моим молодым коллегой, литератором в самом начале своего пути, юношей, любящим прекрасное и истинное, который чувствует себя призванным нести людям свет и правду. А то, что позволительно наивному читателю, непозволительно, по моему мнению, начинающему литератору, человеку, который сам будет писать и издавать книги; он не смеет без критики поклоняться или же делать для себя образцами именно те книги и тех авторов, которые произвели на него впечатление. Ваша любовь к моим книгам, конечно, не грех, но ей не хватает критики и меры, и, таким образом, Вас как литератора она сможет мало продвинуть. Вы видите во мне того, кем желаете стать сами, цель, к которой нужно стремиться, и считаете меня достойным подражания; Вы видите во мне борца за правду, героя и боговдохновенного носителя света, даже почти сам свет. А это, как Вы скоро поймете, не только преувеличение и мальчишеская идеализация, это – принципиальное заблуждение и ошибка. Пусть наивный читатель, для которого книги не столь важны, представляет себе писателя как хочет, нам это безразлично; это все равно как если бы человек, который никогда в жизни не построит и маленького домика, судит и рядит об архитектуре – пустая болтовня. Но страстно влюбленный в своих авторов молодой писатель, полный идеализма, а бессознательно, вероятно, и честолюбия, у которого неправильные представления о книгах и литературе, небезобиден, он является опасностью, он может причинить вред и повредить прежде всего себе самому. Поэтому я отвечаю на Ваше такое милое и трогательное письмо не дружеской видовой открыткой, а этими строками. Как будущий литератор, Вы должны нести ответственность перед собой и перед своими будущими читателями.

Герой и носитель света, за которого Вы почитаете своего любимого автора и кем сами намерены стать, является фигурой, которая мне не нравится. Она кажется мне слишком красивой, слишком пустой, слишком патетичной, а главное, она представляется мне чересчур западной, чтобы вырасти на Вашей собственной восточной почве.

Писатель, которому Вы обязаны познанием и пробуждением, не является ни светом, ни носителем света, он в лучшем случае – окно, через которое может проникнуть свет к читателю, и его заслуга не имеет ничего общего с героизмом, благородными

пожеланиями и идеальными программами, его заслуга может состоять лишь в том, что он, являясь окном, не препятствует свету, не закрывается для него. Если у него есть пылкое желание стать в высшей степени благородным человеком и благодетелем человечества, то очень даже возможно, что именно это желание совертит его и помешает пропускать свет. То, что им руководит и движет, не должно быть ни высокомерием, ни напряженным стремлением к смирению, но единственно любовью к свету, открытостью для действительности, способностью проникаться истинным. Пожалуй, нет необходимости напоминать Вам об этом, Вы ведь не дикарь и не испорченный образованием человек, а последователь дзэн-буддизма, следовательно, имеете веру и понятие о духовной дисциплине, которые воспитывают в человеке способность пропускать свет, смиряться перед истиной, как мало что другое. Руководствуясь этим, Вы продвинетесь дальше, чем благодаря всем нашим западным книгам, некоторыми из которых Вы сейчас так очарованы. Я с большим уважением отношусь к дзэн, с гораздо большим, чем к Вашим несколько по-европейски расцвеченным идеалам. Дзэн является одной из самых замечательных школ для ума и для сердца, это Вы знаете лучше меня, здесь, на Западе, у нас есть лишь совсем немного традиций, которые можно было бы сравнить с ним, и они у нас менее сохранились. И вот мы оба, Вы – молодой японец, и я – старый европеец, смотрим издали друг на друга как на некую диковинку, каждый с симпатией по отношению к другому, каждый немного задетый также экзотическим очарованием, которое испытывает по отношению к другому, и каждый предполагает в другом нечто, что никогда не было вполне достижимо для него самого. Ваш дзэн защитит Вас, я полагаю, от устремления к чужеземному и от фальшивого идеализма, а меня добрая школа антиков и христианства защитит от того, чтобы не кинуться в объятия индийской или другой системы йоги, если я, отчаявшись в нашей духовной ситуации, откажусь от своих прежних опор. Ибо в настоящее время есть такое искушение, этого нельзя отрицать. Но мое европейское воспитание учит меня не доверять именно той не понятой мной или понятой лишь наполовину части азиатского учения, несмотря на все очарование, а придерживаться в нем того, что мне стало действительно понятно. И именно это вполне родственно учениям и опыту моей собственной духовной родины.

Буддизм в знакомой Вам форме дзэн останется Вашим руководителем и Вашей опорой на всю жизнь. Он поможет Вам выжить в том хаосе, который вторгся в Ваш мир. Но когда-нибудь он, возможно, вступит в конфликт с Вашими литературными планами. Для того, кто имеет хорошее религиозное воспитание, литература – опасная профессия. Литератор должен верить в свет, он должен знать о нем по неопровержимому опыту и быть открытым ему как можно чаще и шире, но он не должен считать себя носителем света или самим светом. Иначе оконце закроется, а свет, который ни в коей мере не зависит от нас, пойдет другими путями.

Приписка несколько дней спустя

Посылочка с печатными материалами, которая была отправлена Вам, а также оригинал этого письма были только что возвращены почтой как недозволенные. Мир сегодня выглядит странно. Вы, житель побежденной и занятой победителями страны, могли послать мне письмо в полтора десятка страниц; я же, житель всего лишь нейтральной маленькой страны, не смею ответить Вам. Но, может быть, этот привет Вы получите когда-нибудь через газету.

1947 г.

Вычеркнутое слово

Странная просьба задала нам с женой вчера работы почти на час. Пришло

письмо из Америки, написанное старым господином, благочестивым немецким евреем из тех старинных еврейских домов области Рейна и Майна, которые вплоть до недружелюбного сегодняшнего дня принадлежали к древнейшим и наиболее сохранившимся культурным очагам Германии, к одной из тех рейнских еврейских семей, памятником которой является прекрасный роман Вильгельма Шпейера «Счастье Андернахов»¹, встретивший у публики достойный прием. Этот старый господин из Нью-Йорка, эмигрант, образованный и благочестивый еврей, безымянный в той армии весьма ценных людей, которых Германия оттолкнула от себя в угоду крикунам и злодеям, написал мне с тем, чтобы разрешить вопрос совести, мучивший его; а просьба, высказать которую он считает своим долгом, состоит в следующем: не соглашусь ли я при последующих изданиях одной из моих книг опустить одно-единственное слово. Недавно, читая «Курортника»², он нашел место, где я цитирую изречение «Люби своего ближнего, как самого себя». Курортник называет это изречение «самым мудрым, которое когда-либо высказывалось», и прибавляет: «Поразительно, что изречение записано уже в Ветхом Завете». Так вот, для читателя, написавшего письмо из Америки, для благочестивого еврея и читателя Библии, слово «поразительно» – неприемлемо, он считает, что это слово оскорбляет и ставит под сомнение иудаизм и Тору, и в самых серьезных выражениях просит меня вычеркнуть это слово.

Сначала из-за слабости моего зрения жене пришлось просмотреть «Курортника» до того места, чтобы определить контекст и дословный текст предложения. Затем я тщательно перечитал спорную страницу своей книги, написанной 25 лет тому назад. Разумеется, написавший письмо был прав, разумеется, это было ошибкой, а для еврейского читателя почти кощунством, ведь автор, которого он до сих пор принимал всерьез, считал «поразительным», что такое благородное и возвышенное изречение было записано «уже» в Ветхом Завете, то есть задолго до Иисуса и христианского учения. Он был прав, в этом не приходилось сомневаться: мое выражение «поразительно», как и слово «уже» (которое мой корреспондент, однако, не оспаривал), объективно было неправильным, оно было опрометчивым и глупым, отражало какую-то одновременно стеснительную и высокомерную манеру, в какой во времена моего детства нам, маленьким протестантским детям, говорилось о Библии и иудаизме в популярной протестантской теологии, и сводилось это к тому, что хотя иудаизм и Ветхий Завет высоко чтятся и уважаются, но все-таки в них нет последнего слова, венца, Ветхий Завет преимущественно книга строгого закона, в то время как только Новый Завет дал истинное и полное понятие любви и милости, и т. д. Когда я 25 лет тому назад написал ту строчку в «Курортнике», я еще не был, по крайней мере именно в тот момент, знающим и размышляющим, и когда я цитировал то замечательное изречение о любви к ближнему, мне действительно казалось «поразительным», что такое изречение, которое спокойно можно назвать квинтэссенцией христианской морали, «уже» написано в Ветхом Завете. Прав был он, милый озабоченный человек из Америки.

И все-таки! Разве «Курортник» и все мои книги писались для того, чтобы распространять в народе знания и объективные истины? Конечно, я хотел в них прежде всего служить истине, но совершенно искренне, всячески воздерживаясь от авторитарного привкуса в изложении мыслей; закону искренности, который вынуждает в значительной мере отказываться от своей личности, а нередко заниматься саморазоблачением, а этой жертвы читатель еще никогда не понимал вполне. Разве я хотел

¹ Вильгельм Шпейер (1887–1952) – немецкий писатель, во время разгула фашизма эмигрировал в США, после войны вернулся в Европу и поселился в Швейцарии. Автор нескольких романов, но в основном писал рассказы и пьесы. Роман «Счастье Андернахов» вышел в Цюрихе в 1947 г.

² «Курортник» – повесть Г. Гессе (1925 г.).

поделиться со своими читателями чем-либо иным, кроме результатов собственных переживаний и размышлений, а порой показать этап на пути к личности, приведший к этим результатам? Разве я разыгрывал когда-нибудь из себя диктатора, абсолютного всезнайку, проповедника и учителя, с ведомственной авторитетностью провозглашающего свои истины, но тщательно замалчивающего свои недостатки и сомнения? Разве не считал своей ролью и задачей делиться с читателями не только своими мыслями и убеждениями, но и сомнениями, не выступать перед ними авторитетом и посвященным, а показать только самого себя, ищущего и заблуждающегося собрата?

Я не мог объяснить все это человеку из Америки. Коль он не заметил этого, читая мои книги, которые знают почти все, в письме, каким бы длинным оно ни было, мне не удалось бы научить его читать и понимать по-другому. Он потребовал от меня вычеркнуть единственное слово в книге и тем самым солгать во имя истины, потому что я должен был сделать так, как будто тогда, 25 лет тому назад, когда я писал «Курортника», я был не способен на заблуждение или легкомыслие, на незнание Библии и теологии, как будто тогда, как и сегодня, надо мной не тяготели во всем издержки моего происхождения и воспитания. Может быть, от меня потребовали все-таки слишком многого?

Казалось бы, дело пустячное. От меня потребовали сделать что-то противоречащее моему существу и вкусу, моим литературным привычкам, чтобы не сказать «основным принципам», и на это, собственно, был один ответ – отказ. Но обстоятельства выглядят всегда проще, чем они есть, а моральные – в большей степени, чем все прочие. Если бы я был на двадцать лет моложе! Я не стал бы тогда угрожать жене поисками нужного места в книге, не мучился бы сомнениями, нашел бы время все объяснить своему читателю в письме на нескольких страницах, расчувствовался бы в этом письме, польщенный уверенностью, что теперь-то действительно убедил и успокоил партнера. Слово «поразительно» осталось бы в моей книге, продолжая с благородной искренностью свидетельствовать о моей наивности и глупости в 1923 году.

Но теперь я стал несколько старше и несколько опасливее, а возможно, и несколько неувереннее, и человек, пожелавший, чтобы я вычеркнул слово, тоже не молодой читатель, которого можно успокоить добрым письмом, поколебав его убеждения, а старый господин, письмо которого и скромно, и достойно. Кроме того, он благочестивый поклонник Библии, человек, лучше меня разбирающийся в Ветхом Завете, которому одно мое несколько необдуманное слово причинило боль и неприятность. И еще кое-что: он был еврей. Он принадлежал к народу, который дал миру Библию и Спасителя, а за это получил ненависть и жестокую враждебность почти всех других народов, был представителем древнего избранного народа, который в наше безбожное время вытерпел немыслимое и показал себя при этом лучше, нежели какой-либо другой, более молодой народ при подобных гонениях: евреи не только показали (и это относится еще и к сегодняшнему дню, ведь преследования продолжаются) бесподобный пример солидарности, братской помощи и жертвенности, еще совершенно не осознанный миром, больше того, в бесчисленных случаях они проявляли героизм в терпении, смелость перед лицом смерти, достоинство в нужде и гибели, перед лицом которых мы, неевреи, можем только стыдиться.

И вот этому доброжелательному и достойному старому еврею я должен был ответить отказом на его благородно выраженную просьбу, должен был противопоставить его вере и сверхличной благочестивой мудрости свое право писателя, представителя психологической специальности, свой пафос исповедника; и, отказав и разочаровав его, еще и поучать?

Это было выше моих сил. Для этого нужен был бы такой запас уверенности, веры в себя и в смысл и ценность своего труда, какого на сегодня у меня нет. Я написал читателю в Нью-Йорк короткое письмо, что исполнил его пожелание, а своего изда-

теля уведомил, что при новом издании «Курортника» слово «поразительно» на странице 154 следует опустить.

1948 г.

Инь и Ян
Письмо студента и ответ на него

*Безумство молодости преуснеет.
Не я ищущу молодого безумца.
Молодой безумец ищет меня.
В первом же слове даю я ответ.
Спросит не раз он, это – докука.
Если ж докучлив, не дам никакого ответа.
Поддержит упорство.*

Глубокоуважаемый и дорогой господин Гессе!

Хотя я стою под знаком «монг», мне хочется поблагодарить Вас за бесчисленные полные содержания часы, которые подарили мне Ваши творения, и заверить Вас, что и для нашего сегодняшнего молодого поколения Ваше творчество значит много, очень много. Для нас, живущих в хаосе, в этом бесформенном настоящем, у которого нет содержания, центра и цели, Ваша жизнь и творчество, как путь через все пропасти этого хаоса, означают призыв и стимул к его преодолению.

Разве Ваша одинокая, но столь богатая жизнь являлась чем-либо иным, кроме постоянного спора с хаосом, чью гибельность и плодородность Вы познали до самой глубины? Если же хаос только «зиянье», всеуничтожающая прабездна и прадракон, бездонность всего сущего – одновременно он бесформенный, на все способный мир первоначала, из которого всегда по-новому рождается юное создание: так, прелестный и отвратительный одновременно, он – плодородное материнское лоно всего сущего. Египтяне имели более содержательное и более глубокое представление о хаосе, нежели греки, их хаос был Грядущим, мировым океаном, отцом всех богов, из которого победоносно является миру творение, из которого исходит Нил и оплодотворяет всю землю, в который погружается спящий, мечтающий и умирающий. Так хаос вмещает все богатство и все потенции бытия, о чем возвещает плеск реки в «Сиддхартте».

Ему противостоит Касталия, твердый структурный порядок и иерархия. Но этот порядок слишком узок и неподвижен, всего лишь провинция, а не мир, так что в ней Кнехт не может претворить в жизнь свою сущность, он возвращается в хаос, чтобы пронизать его порядком. Ведь самоосуществление человека возможно только в упорядочении. Однако любой порядок и любая форма непременно преходящи и когда-нибудь опять будут преданы хаосу, погибнут в волнах, подобно Кнехту. Вечен лишь хаос, и в нем – все идеи и символы этого неисчерпаемого мира, все элементы, что когда-либо соединялись в произведение искусства или в развитой миропорядок, каков миропорядок Древнего Востока, или христианского средневековья, или конфуцианского Китая (которые являлись более чем провинциями – мирами).

Однако я утомляю Вас афоризмами, давно известными Вам, гроссмейстеру столь нерушимо спаянного братства магов. Разве не были Вы уже с раннего детства, со времен танцующего Шивы Вашего дедушки и «маленького мужчины», теснейшим образом связаны с магией, этим самым чистым в своей переливающейся двусмысленности символом хаотической первоосновы? Вы всегда были настоящим магом (кроме тех мгновений, когда видели только разрушающие и гибельные силы магически-

хаотического), не как Фауст, этот трогательно-трагикомический чернокнижник, который не разглядел Мефистофеля в его маске и которому было неизвестно, что любой путь к бессмертию и всеисилью ведет в хаос как единственно вечное и всемогущее. Он не хотел понять, что внутренняя красота и величие любого порядка заключены именно в брэнности. Только это знание и исповедание этой истины, только ясное видение волшебной игры перемен хаоса и порядка в истории и во всем вечно пронизанном инь и ян бытия дает нам ясную уверенность мудреца и мага, самоотверженность пробужденного. Так и в хаосе нашего времени, внешне преисполненном лишь отчаяния, мы видим его всеоплодотворяющую действенность, безграничную способность к новому творению и упорядочению бытия. И радостно созерцает маг душу мира, пребывающую вечно юной, щедрой и неисчерпаемой.

К ней указали нам путь Вы, глубокоуважаемый господин Гессе, к ней и к становлению человека, которое стоит выше стремления стать богом фаустовской современности. Древнейшим языком магии, посредством творчества вели Вы нас через все высоты и глубины хаотического мира, во всем, что Вы создаете, рокошет исполненный магии поток, творящий и разрушающий, музыка вселенной. Вы стали тем, кем стать было Ваше страстное желание, – чародеем, магом, знающим светлую глубину мира и китайскую улыбку бессмертных.

Да простит великодушно мастер и старший брат молодого ученика, если он приблизился к нему безумно близко, рискуя преступить магически-запретный круг одиночества. Примите нижайший поклон и благодарность человека, для которого Вы – путь в будущее и надежда на новый, удивительный порядок бытия.

Ваш глубокопреданный Э. Х.

Ответ

Младший брат порадовал старшего, подтвердив ему единство противоположностей и гармонию противоречий. Оказывается, младший брат знает многое, что ускользнуло от старшего или же, если он и знал когда-то, снова забыл. Хотя именно в этом, в забывании и отсутствии сожаления о забытом, старший, пожалуй, опять на один шаг опередил младшего. Как инь и ян определяют ткань жизни, так чередование приятия и отдачи определяет отношение между учителем и учеником, между якобы мудрым и якобы еще безрассудным. Один дает другому, один у другого берет. Это ведет к знанию и приводит к способности забывать знание. Поддерживает радость.

Искренне Г. Гессе (1954 г.)

Перевод с немецкого Г. Барышниковой